

**АНАТОЛИЙ КУЗНЕЦОВ**

**КА  
РА  
ОК  
РА**

**А**

## Annotation

Анатолий Кузнецов — автор широко известной читателю книги «Продолжение легенды».

Его новая книга, «У себя дома», — это повесть о том, как мужает юность, отстаивая жизнь и счастье.

Сюжет повести внешне несложен: молодая девушка возвращается к себе на родину, где мать ее была когда-то лучшей дояркой области. Дояркой в колхозе становится и Галя.

Трудно складывается ее жизнь (автор далек от желания приукрашивать действительность), и не из-за того, что она молода, неопытна, а потому, что это цельный, искренний, бескомпромиссный человек.

Ее требования к себе, к любимому, к жизни так высоки и в то же время так человечны, что незаметно для себя Галя покоряет и подруг и людей старше себя. Покоряет она и читателя.

---

- [Анатолий Кузнецов](#)

- [Первая часть](#)

- [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
    - [6](#)
    - [7](#)

- [Вторая часть](#)

- [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
    - [6](#)
    - [7](#)

- [Третья часть](#)

- [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)

- 4
- 5
- 6
- 7
- Четвертая часть
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
- Пятая часть
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4



**Анатолий Кузнецов**  
**У себя дома**

# Первая часть

Галина выехала рано, потому что путь предстоял сложный. Она была рада выехать. Она не хотела, не могла задерживаться больше ни часу.

Поезд был местный; он останавливался на каждом разъезде — то вдруг оказывался битком набит людьми, то все сходили, и Галя оставалась одна. Она не смотрела в окно и ни о чем не думала.

Поезд шел так долго и утомительно, что Галя в конце концов привыкла к нему, хотя в вагоне было неуютно и сыро.

Остановок десять скамью напротив занимал солдат. Он вытянулся на ней во всю длину, так что стоптанные сапоги свесились в проход, и осторожно, вежливо похрапывал. Случайно взглянув на него, Галя вздрогнула: один глаз солдата был открыт — синий, с красными веками — и внимательно смотрел на нее. Она загипнотизированно уставилась на него, глаз закрылся, и опять раздался осторожный храп.

Ей тоже хотелось улечься на скамью, подложив кулак под голову, закрыть глаза и заснуть.

Вдруг поезд начал сильно дергаться, а паровоз тревожно закричал частыми визгливыми гудками. Зашипело под полом, и поезд затормозил так резко, что солдат слетел со скамьи и вкатился под Галино сиденье, едва не переломав ей ноги, и все в вагоне закричали, какая-то женщина заголосила, рассыпанная картошка покатила по полу.

Раздался удар где-то впереди, мощный треск и отчаянный животный рев. И не от удара, не от боли в ногах или страха, а именно от этого непонятного, нечеловеческого рева Галя похолодела.

Она вместе со всеми бросилась к выходу.

Поезд стоял на закруглении. Из всех вагонов сыпались люди и бежали по насыпи к паровозу, и там впереди было что-то непонятное.

Спотыкаясь, скользя в сыпучем гравии железнодорожного полотна, Галя добежала до паровоза — и здесь поняла, что произошло: поезд врезался в товарный состав.

Странный был это состав: всего семь или восемь вагонов, обыкновенных красных телячьих вагонов, которые неизвестно как очутились на полотне.

Кто-то кричал, матерился и объяснял, что эти вагоны оторвались от прошедшего накануне товарняка, а здесь уклон, и они покатались назад,

навстречу пассажирскому составу.

Хорошо, что машинист успел затормозить, поэтому удар получился односторонний.

Здесь же ходил машинист — долговязый, бледный, сосредоточенный, и, не переставая, вытирал руки тряпкой.

— Не волнуйся, ты не виноват, — успокаивали его.

Он не отвечал, только вытирал и вытирал руки тряпкой...

Вагон, на который пришелся удар, встал дыбом и взгромоздился на паровоз. Вся передняя часть паровоза была смята и завалена обломками.

Вскоре выяснилось, что из пассажиров и бригады никто не пострадал.

— А где кондуктор с товарняка? — вдруг спросил кто-то. — Там на тормозе сидел человек?

— Не было, — зло сказал машинист. — Я ему сигналил, не было.

— Спал, прохвост! А проснулся — и спрыгнул.

— Дай бог, чтобы спрыгнул!

— Драпанул!

И тут все стали облегченно посмеиваться: как он спал, проснулся и увидел, что едет не в ту сторону, а теперь сидит где-то в болоте и чешется, не зная, что же ему будет.

Все так развеселились — после пережитого страха и оттого, что обошлось без жертв. Даже кто-то начал браниться, что опоздает теперь, что не доехали до Пахомова семь километров и придется топать пехом.

Но тут из вздыбленного вагона раздался тот же жуткий крик кого-то умирающего.

Сначала люди оторопели, потом рыжий парень в кожанке полез на паровоз, расшвырял обломки, отодрал пару досок.

В проломе показалась бестолковая рогатая коровья голова. Корова билась, стуча копытами: она силилась выбраться в пролом.

Парень взял ее за рога, не зная, что делать, заглянул внутрь.

— Тут их много, — сказал он. — В крови.

— Ладно, коровы — наплевать. Коровы — черт с ними!..

— Ой, за что ж они пострадали, голу-убушки!.. — запричитала женщина, но на нее странно посмотрели, и она умолкла.

Бригадир поезда принес топор и стал рубить стенку вагона, что было не трудно, так как большинство досок растрескалось и слабо держалось. Когда он отдирал доски, в дыры показывались рыжие бока животных, высунулась задняя нога в навозе и комично задргала.

Вытащили первую помятую, окровавленную корову. Впрочем, кровь

была не ее. Она хромала и пугливо рвалась. Так как веревки не нашлось, она взбрыкнула и побежала вниз по насыпи, оглянулась и снова побежала, потом еще оглянулась и, хромая, кинулась прямо в кусты.

Всего оказалось восемь коров. Три из них не могли стоять: их выволокли на полотно с переломанными ногами. Одна из этих трех, видимо, кончалась; она время от времени кричала, и было в ее глазах что-то такое, отчего люди, подойдя, качали головой и спешили отвернуться.

Галя тоже подошла. Бока коровы часто подымались, шерсть была в темной запекшейся крови.

Галя пошла вдоль поезда, держась за вагоны, нашла свой вагон, вскарабкалась в него. Ее качало.

Вагон был пуст. Она нашла свое сиденье. Возле него на полу лежал ее чемоданчик — открытый, почти пустой. Она растерянно поискала под скамьями: где вещи, платья, кофточка, туфли? Остались одни безделушки, книжки, пачка печенья.

Вконец обескураженная, она принялась лихорадочно шарить под газетой, которой было застлано дно чемодана. Диплом матери и документы оказались на месте, ворами они не понадобились. Галя еще раз безнадежно осмотрелась и, захлопнув чемодан, ушла.

На параллельном пути у паровоза стояла дрезина с железнодорожниками, уже кто-то что-то писал, замерял.

Уцелевшие товарные вагоны были открыты, и из всех дверей выглядывали добродушные и глупые коровьи морды. Видимо, состав направлялся на бойню.

Галя не хотела смотреть, ничего не хотела больше видеть.

Она пошла по шпалам в направлении Пахомова; и по пути ей встретились последовательно вторая дрезина с железнодорожной милицией, третья дрезина с каким-то важным начальством, маневровый паровозик, толкавший гигантский паровой кран и платформу с рабочими.

Она шла себе, изредка перебрасывая чемодан из руки в руку; он был легкий и не обременял ее.

Кончилась насыпь, железная дорога нырнула в лес, и лес был хороший, прозрачный, светлый от берез, полный солнечных пятен; но ей не хотелось останавливаться, она прошла весь лес, не заметив, когда он кончился. Вдруг перед ней открылось поле. Она будто очнулась, увидела это поле, небо, себя — у нее подкосились ноги, она села прямо на сыпучий гравий и заплакала.

Плач этот был недолгий и не облегчающий. Зачем-то она еще раз



пересмотрела чемодан, обнаружила, что воры не взяли старую зеленую юбку и жиденькую, застиранную блузку — это была удача. Настроение немного поднялось. Она увидела вдали своего вагонного соседа, который бойко вышагивал по шпалам, и поспешила вперед, чтобы он не догнал ее.

В центре Пахомова, большой, беспорядочно разбросанной деревни, стоял длинный белый дом. Он был недавно выстроен, и вокруг еще высились кучи строительного мусора с протоптанными тропинками, а весь большой плац вокруг дома был разбит и разъезжен.

В белом доме помещалось правление колхоза.

Галя вошла в темный и длинный коридор правления. Большинство дверей было распахнуто, в комнатах толпились люди, сидели за залитыми чернилами столами, сидели на подоконниках; слышалось щелканье счетов.

На одной двери имелась табличка: «Председатель». Эта дверь тоже была распахнута, в комнате было особенно много людей, тоже щелкали на счетах и, перебивая друг друга, говорили крайне непонятно:

— Кукурузы — триста... корнеплодов — двести... Две тысячи семнадцать на два...

— Ты землю клади. Сколько у нас многолетних?

— Мужик раньше сеял девять пудов, а два центнера — понятия не имел.

— У тебя аппетит неправильный!

— Потихе, потихе, у нас чистого пара меньше будет.

— Где перспективный план? Тьфу, черт, истертый какой!

— Его же изменяли два раза.

— Кто изменял?

— Да кто? Ездили в управление.

— Вику на сено лучше бы! А семенники? Сколько семенников? Нет, несерьезные вы люди!

В несерьезности упрекал собравшихся тут людей большой плотный мужчина с хозяйскими манерами, сидевший в центре за столом.

У него была буйная, растрепанная шевелюра, широкое и рыхлое лицо, изрытое темными оспинами. Галя заключила, что это председатель.

Переступив порог, она заробела так, что готова была выйти обратно. Но люди сидели, курили, кричали, разворачивали встрепанные бумаги, выходили, толкая Галю и не обращая на нее внимания.

Она все стояла у двери, пряча за спину чемодан. Председатель мельком посмотрел на нее невидящим взглядом и опять уткнулся в бумаги.

Очевидно, здесь дела решались именно так: входили все, кому не лень, перекрикивали других и, добившись своего, уходили. Пришел тракторист,

подписал бумагу и ушел; пришла баба, попросила лошадь и ушла.

В кабинете имелся продавленный диван. Некоторые люди забредали просто посидеть и послушать; покурив на диване, они уходили.

Галя устала. Она осторожно пробралась к дивану, села. На нее решительно никто не смотрел; люди продолжали кричать.

— Всхожесть была пятнадцать процентов!

— Я вас спрашиваю про однолетние травы!

— Семенники! Семенники!

— Черт его знает! Сорок лет бьемся над землей. Комбайны, тракторы, сажалки, копалки, разные вырывалки, а урожайность...

На диване было тепло. В углу стоял пук кукурузы вышиной до потолка — стоял, очевидно, не первый год, так как листья высохли и рассыпались от прикосновения в пыль.

— Ты что здесь? Ну? А?

Когда Галя открыла, наконец, глаза, в комнате людей не было. Перед ней, заслоня свет, стоял огромный сердитый председатель.

Галя вскочила.

— Я приехала... — сказала она.

— Почему?

Она торопливо полезла в карман и протянула комсомольскую путевку и заявление с просьбой принять ее в колхоз. Председатель схватил документы, словно только это ему и надо было, отвернулся и пошел к окну.

Только тут она обнаружила, что он не громадный, а, наоборот, ниже ее на полголовы. Просто он был широк необычайно, приземист, как баобаб, у него была слишком большая голова и слишком короткие ноги.

Держа бумажку большими, корявыми, в рыжих волосах пальцами, он внимательно прочел и перечитал ее.

— Что это в деревню принесло? — подозрительно и недружелюбно спросил он. — Женихов тут нет, сами нуждаемся.

— Я не за этим... — вспыхнула Галя.

— А за чем?

— Ни за чем.

— М-да... Стажишко заработать? Или чего натворила?

— Ничего не творила. Я жила здесь когда-то.

— Чего?

— Жила здесь.

— Ах, вот как! — В глазах председателя промелькнуло изумление. — Возвращаешься? А родные-то кто? Они здесь?

— Нет.

— А где мать-отец?

— Нету.

— Гм... Ну, иди пока к Марье Михайловне, пусть направит тебя в птичник, а там посмотрю.

— Видите ли, я хочу к коровам...

— На фермах у нас мест нет.

— Может быть, одно найдется?

— Я говорю по-русски: мест нет. Зимой надо приходить. Летом вы все мудрые.

— Мы жили в Рудневе, — волнуясь, сказала Галя; она почувствовала себя беспомощной, сейчас по воле этого неприятного твердолобого человека мог в одну минуту рухнуть весь ее план. — Мы жили в Рудневе. Мама была дояркой, я бегала в коровник, училась доить. Это единственное, что я умею, и я вас прошу...

— А где теперь мать?

— Умерла.

— Не помню такой фамилии, — сказал он, посмотрев в заявление. — Макарова... Какая Макарова?

— Мы уехали давно.

— Куда уехали? Почему?

— Ну, туда, в город... Было трудное время, — попыталась объяснить Галя. — Мать работала с зари до зари, а на трудовни почти ничего не выдавали, коровник был разрушен, холод зимой. У нее начался ревматизм и отнялась рука...

— Знаем, знаем, — насмешливо сказал председатель, — просто драпанули из колхоза, говори. Понятно. Теперь, значит, помыкались по свету — и назад. Пронюхали, что теплее? Так у нас не теплее. Колхоз у нас отсталый. Так везде разотсталым и прописан. Поняла?

— Это неважно.

— К Марье Михайловне на птицеферму, — четко сказал он, давая понять, что разговор окончен.

Гале захотелось ударить его в лицо. Но она продолжала настаивать, не замечая, что тон у нее уже был умоляющим:

— Я вас очень прошу, я вас прошу... Это единственное, что я умею делать. Моя мать была хорошей дояркой, вы несправедливы, у нее отнялась рука. Мы жили в Рудневе. Коровник был на холме.

— Там сейчас другой коровник, — сказал председатель.

— Вот... если вы не верите...

Не помня себя от волнения и страха, что ей откажут, Галя протянула замусоленную синюю книжицу с остатками позолоты на вытисненных буквах:

### «ЛУЧШАЯ ДОЯРКА ОБЛАСТИ»

— Что? — удивился председатель. — Это твоя мать? А? погоди, я, кажется, что-то припоминаю. — Он повертел волосатыми пальцами книжицу-диплом. — Гм... Что мне с тобой делать? К птицам не пойдешь?

— Нет. В коровник.

— Небось образование есть?

— Среднее.

— А почему в городе не захотела остаться?

— Ничего я не хочу, пустите меня в Руднево на ферму.

Председатель протянул руку, достал из-за шкафа суковатую палку и гулко постучал ею в стену.

В комнату заглянул какой-то искореженный, сгорбленный человек с лихорадочно блестящими глазами, похожий на птицу. Председатель посмотрел на него не то брезгливо, не то злобно.

— Алексей Митрич, мне надо два слова...

— Говори.

— Такое дело — лучше бы с глазу на глаз.

— Какое дело?

— С глазу бы на глаз.

Председатель шумно встал, прошел к двери и демонстративно ее закрыл.

— Ну? А?

Человек-птица мялся.

— Говори смело, это свой человек. Ну?

— Зерно уворовали, Алексей Митрич! — выпалил человек.

— Кто?

— Шоферы. — Человек-птица говорил быстро, полушепотом, захлебываясь. — Гляжу, подъехали к дому-то, пять мешков скинули — и ходу! А в мешках-то пшеница. Мешочки-то в погреб и поволокли.

— В погреб?

— Так точно, в погреб.

— Отсыреет ведь?

— Ничего, им толечко к ночи. Дом я запомнил.

— Запомнил?

— Ага.

Председатель снял трубку телефона.

— Ежели поспеть, мы их накроем. Они в погребке лежат, до вечера не вынесут, уж я-то запомнил, — воодушевляясь, говорил человек.

— Горбачев? — закричал председатель. — Воробьев говорит. Тут такое дело: шоферы сперли пять мешков пшеницы и, говорят, положили в погреб. Да, дом известен... Так ты подошли милиционеров, а наш человек покажет. Какой человек? Да, он...

— Я только издали, издали! — закричал посетитель.

Да, слушай, скажи им, чтобы шли сами, прямо в погреб, а он покажет издали. Он боится... Ладно, давай «газик». Только высадите его подальше, чтобы никто не видел. Вот, — сказал он, положив трубку, — придет «газик», закрытый, ты сядешь на заднее сиденье и покажешь дом. А они тебя высадят подальше, понял?

Человек радостно затрепыхался:

— Я уж с дорогой душой покажу, только бы не успели вынести!

— Они что, враги твои?

— Не... так просто видел. Так я пойду?

— Иди, иди. Они сейчас подъедут, — как-то устало сказал председатель, снова взял палку и постучал в стену.

Человек, сгибаясь, вышел и только за дверью надел шапку. Председатель, не глядя на Галю, барабанил по настольному стеклу волосатыми пальцами.

На этот раз сигнализация сработала: хлопнула соседняя дверь, и в кабинет вошел — не вошел, а влетел молодой улыбающийся парень. Лицо у него было здоровое, румяное, и характерность ему придавал крупный подбородок, разделенный надвое, а зеленоватые глаза блестели живо, умно и, казалось, чуть насмешливо, так что, когда он говорил, трудно было определить, сколько в его словах серьезности, а сколько шуток.

— Звали?

— Где ты был?

— В Даниловке, сеял панику. Сдали, наконец, мясо. Трактор стал, и резину просят.

— Резину! Резину!!! — вдруг истерически взорвался председатель. — Я сегодня в землю кланялся, в область трезвонил: дайте, дайте! Поймите: из двадцати машин шесть на ходу, остальные разутые стоят. На лысых скатах ходим, черт знает что! Попробуйте так прожить! Попробуйте вылезть из отсталых!

Выкрикивая это, он обращался больше к Гале, чем к вошедшему, но Галя не совсем понимала, а он думал, что такие примитивные вещи все должны понимать и посочувствовать ему. Галя на всякий случай кивнула. Он сразу успокоился и взял парня за карман.

— Вот это Волков, наш парторг. А это, Волков, дочка знаменитой доярки, лучшей доярки области, которую мы с тобой ни хрена не помним. А она за всю жизнь только и получила, что вот эту книжицу, а когда отнялась рука, никакой гад не поинтересовался, чем ей жить, и она бежала из деревни в город. Вот как!

Галя слушала, не веря своим ушам.

— Это было в Рудневе, в старом коровнике на холме, десять лет назад, когда ты под стол пешком ходил, впрочем.

— Девять лет назад я был в армии, допустим, — улыбаясь, сказал парень.

И Галя с удивлением обнаружила, что он не такой уж молодой, как казалось с первого взгляда, — просто уж очень молодо он держался.

— Разве? Ну, тогда это я учился ходить после госпиталя, понял? — сказал председатель опять-таки не столько для Волкова, которому наверняка было это известно, сколько рисуясь перед девушкой. — Ну вот, эта девочка, ее зовут Галя Макарова, просится на Рудневскую ферму. Как там эта горлопанка Данилова?

— Денисова.

— Заявление у нас лежит?

— Она еще второе написала.

— Отпустим?

— Как хотите. Я уже говорил, что с нее пользы, как с козла молока, — весело сказал парторг.

— Отпустим. Иди, Галюшка, к Марье Михайловне, пусть пишет тебя на Рудневскую ферму. Тебе жить-то есть где?

— Нет.

— И родственников нет?

— Нет.

— Ладно, как-нибудь устроим, — пообещал председатель.

Галя поблагодарила и вышла.

Прежде чем двинуться по нескончаемой пыльной дороге, Галя остановилась у колодца, прикованным к цепи ведром добыла воды и выпила прямо из ведра; вода ломила зубы.

Она почувствовала себя спокойнее и увереннее. Солнце грело ласково, горячо.

После всего того усиленного городского ритма, в котором она пребывала много лет, тишина поля, душные запахи хлебов и давно позабытый жаворонок заставили ее сердце биться учащенно, и она, как бывает в таких случаях, вдруг не столько подумала, сколько ощутила всем существом, как земля еще просторна, как много в ней здорового, о чем люди забывают за суетой.

Она остановилась, сняла босоножки, положила их в свой пустой чемодан и пошла босиком по теплой и мягкой пыли; шла не спеша, задумавшись, и ей хотелось долго идти.

Ей хотелось дольше быть одной, и, когда сзади послышался мотор, она не обернулась, а только сошла на обочину.

Автомобиль, догнав ее, остановился. Это был ярко-красного цвета «Москвич» на высоком шасси. С переднего сиденья иронически смотрели шофер и парторг Волков.

— Ненормальная, — с какой-то жалостью сказал Волков. — До Руднева семнадцать километров. Кому было сказано ждать машину за утками?

Галя молчала.

— Садись, — сказал он. — Я решил поехать, не был я там две недели.

Галя достала босоножки, надела их и тогда села в машину.

— Меня зовут Сергеем Сергеевичем, — сказал Волков. — А это Степка, а это наш «Москвич» на длинных ногах. Мы ездим целыми днями, и нам кажется, что мы страшно занятые люди. С чего вы, Галя, идете в доярки?

— Так просто... — пробормотала Галя. — Я кончила школу, работала в гардеробе... И вот... просто...

— Ну, ну?

— Все, — с раздражением сказала Галя.

Она прошла бы трижды по семнадцати километрам, лишь бы ни о чем не говорить. А Волков продолжал:



— Очень занятые, вроде нас со Степкой, люди подсчитали, что при немеханизированном труде руки доярки делают сто сжатий в минуту, то есть десять тысяч сжатий при дойке дюжины коров. А вы об этом думали когда-нибудь?

— Я умею доить, я знаю.

— Может быть, вы думали, что у нас электродойка, «елочки», карусельные доильные залы и прочая наука и техника, о которой пишут в газетах? Тогда запомните, что в Рудневе доят так, как доили при скифах. Десять тысяч сжатий за дойку, тридцать тысяч за день. В воскресенье у нас показывали киножурнал, в котором улыбающийся дядя лечил грязями руки улыбающейся доярке. Бабы смеялись и сказали: «Лучше бы дали ей доильный аппарат».

— А правда, — сказал Степка, — чего этих аппаратов не хватает?

— Сверни-ка на Лужки, — сказал вместо ответа Волков, — что-то там работа идет — дым столбом.

Степка ухарски развернул машину, так что из-под колес вырвался целый взрыв пыли, «Москвич» рванулся прямо по траве, по едва приметной колее, продрался через заросли кустов и как вкопанный остановился.

В тени под кустами, постелив пиджак, сладко спал длинный, загорелый до красноты мужчина в выгоревшей рубашке. Другой мужчина лениво строгал ножиком палку.

Приглядевшись, Галя поняла, что он не просто строгал, а делал свисток. Она умела делать свистульки. Нужно было вырезать прутик, постучать по коре колодкой ножа, чтобы кора отстала, снять ее, сделать в древесине углубление, а в коре — прорезь и надеть кору обратно.

— Ну как? — спросил Волков, поздоровавшись.

Спящий человек проснулся, вскинулся и сел, разморенный и взъерошенный.

— Ничего... — лениво ответил тот, который делал свисток.

— Много скосили?

— По возможности.

— Не перестояла трава?

— Не, ничего...

— А где же косилка твоя?

Мужчина удивленно огляделся, привстал и, успокоенный, сел.

— В балочке вон... пасется. Жарко.

Он надел кору, дунул в свисток, но свистка не получилось.

— Дырка большая, — заметил Волков.

— Не-е, ничего...

— Большая, говорю.

— Малость только подрезать.

Мужчина снял кору и снова начал строгать. Волков с интересом следил за работой. Другой, загорелый, так и сидел, не шевелясь, какой-то отрешенный и безразличный ко всему.

Мастер свистка попробовал подуть — свиста опять не вышло.

— Он высохнет, тогда засвистит, — успокоил шофер Степка.

— Не-е... — пробормотал мужчина, упрямо принимаясь строгать.

Гале уже надоело стоять и смотреть на дурака.

Было ясно, что дыра велика и теперь уже не поправишь, надо выбрасывать и начинать сначала, и она не понимала, почему он упрямо строгаёт, не понимала также Волкова и его интереса.

— Дай, — сказал Волков.

Он взял нож, начисто отмахнул неудавшийся свисток и на следующем куске прутика сделал надрезы, постучал колодкой, снял кору, сделал углубление, надел кору обратно.

Даже сонный человек проявил какие-то признаки жизни и мрачно-пристально стал следить за всеми этими операциями.

Волков подул — и свисток засвистел. Не очень приятно, но довольно пронзительно. Он еще раз с торжеством посвистал и передал свистульку незадачливому мастеру. Тот с уважением принялся изучать работу.

— Прорезь вот какую, не больше, видал? — объяснял Волков.

— Ага.

— Ну, ладно, трудитесь, мы поехали.

— Далече?

— В Руднево вот новую доярку везем.

— А... — озадаченно сказал человек.

— Бывайте!

Волков, шофер и Галя пошли обратно; и пока они добрались до машины, завели мотор и выехали на дорогу, Галя недоумевала.

Проехав метров двести, Волков попросил остановить. Он выглянул. По лугу быстро двигались две косилки, на которых сидели те двое, и даже издали было видно, что они полны решимости выполнить и перевыполнить свои задания.

— От дети! — весело сказал шофер.

— В смысле сукины, конечно, — неожиданно ало сказал Волков.

— Ну, что жара — то правда.

— У них всегда жара или дождь. А свистки должен уметь делать всякий разумный человек, — строго сказал Волков, оборачиваясь к Гале; в глазах его уже была едва заметная ирония. — Когда он высыхает, внутрь бросается вишневая косточка, и получается свисток милиционерский. Если они правы, что жара, то, может, и мы имеем право искупаться? Хотите?

— Нет, — сказала Галя.

— Я хочу! — радостно сказал Степка.

— Тогда вы, может быть, позвольте нам? — попросил Волков.

— Пожалуйста, — пробормотала Галя, все более недоумеая.

«Москвич» подпрыгнул, словно от радости, свернул в траву и помчался, качаясь и ныряя, куда-то прямо на луга. Вдруг радиатор задрался в небо, и машина остановилась.

Прямо под колесами был небольшой обрыв, а под ним — круглое темно-коричневое озерко. Не было на нем ни камыша, ни осоки, ни кувшинок, только густая трава космами свешивалась с берегов прямо в воду — в совершенно гладкую, темную и таинственную воду.

С берега метнулось что-то желтое, и не успела Галя ахнуть, как взлетели брызги и в желтоватой воде, как торпеда, пошло человеческое тело.

Волков вынырнул далеко от берега, двумя руками пригладил волосы и сказал:

— Господи боже ты мой, купайтесь же!

Он нырнул и вынырнул еще дальше и оттуда крикнул:

— Наверху теплая, как чай, а внизу — лед. Спуститься можно вот там.

Степка снял, наконец, ботинки и в каких-то несуразно огромных трусах, ежась и опасаясь, принялся задом спускаться с обрывчика, удерживаясь за травяные космы. Он был худ до синевы, щуплый и нескладный. Он сорвался, завизжал, отчаянно забарахтался, взмутил дно у берега, и муť пошла вокруг него клубами. Он барахтался в ней, икал от удовольствия, безгранично счастливый, и делал Гале страшные глаза.

Она сняла босоножки, сползла по траве к воде и достала воду ногами. Вода была действительно теплая, как чай. По озеру шли круги и клубы мути. Душно пахла трава, стрекотали кузнечики, жгло солнце с разморенного неба.

— Тут никто не достает дна! — восторженно сказал Степка, высовывая из воды голову.

— Это у нас называется Провалом. Это было сто лет назад, — сказал Волков, фыркая где-то у противоположного берега. — Провалилась земля — и стало озеро. Дна не достают не потому, что глубоко, а потому, что

холодно и страшно.

— Метров двадцать будет! — возразил Степка.

— Нет, конечно, хотя и не меньше семи. В войну немцы сбросили сюда бочки с солидолом, а в сорок шестом один пацан нырнул и достал.

— Я слышал, — сказал Степка. — Да треп это!

— Нет, не треп, я сам это видел.

— Кто же он?

— Местный, я его знал.

— Как же он достал?

— Набрасывал петлю, и люди тащили. Раз тридцать нырял.

— Чудно что-то... — не поверил Степка. — Не знал я таких ныряльщиков. Уж не вы ли сами это были?

Волков не слушал, он плавал, как дельфин, сверкая спиной и распространяя беспорядочно волны, которые достигали ног Гали. Он был счастливый, как мальчишка, и такой он понравился Гале. И Степка понравился. Ей захотелось, чтобы они купались долго, и так сидеть в густой траве с опущенными в воду ногами, и заснуть не заснуть, а забыться, а потом проснуться — и все уже будет иное.

Она закрыла глаза и действительно забылась, но только на одну минуту, а когда открыла их, Волков уже был одет, а Степка зашнуровывал ботинки. Они говорили:

— Хорошего понемножку, белки и свистки — в другой раз.

— Жмем через Клинь?

— Нет, через Дубки, срежем километров пять, а?

— Мостик-то разобран...

— Неужели мы не форсируем какой-то дрянной ручей?

— Форсировать можно...

— Тогда по коням.

Они поехали прямо через луг, петляли, объезжая болота, прыгали, проваливались; это была какая-то бесшабашная фантастическая поездка. Потом они вырвались на глухой проселок, по которому, видно, давно никто не ездил, и понеслись с бешеной скоростью.

По дороге шли какие-то люди; они принялись махать и делать тревожные знаки: мол, не ездите туда, там не проедете — нет дороги. И действительно, дороги не было. Была балка с глубоким и быстрым ручьем, над которым свесились остатки провалившегося моста.

Но Степка провел машину на полном ходу, только брызги полетели, а потом взял такой крутой подъем, что казалось, машина лезет на стенку, и Волков похвалил его и похвалил «Москвич» на длинных ногах.

Село Руднево располагалось на берегу того же ручья. С одной стороны был лиственный лес, с другой — бесконечное поле. Село потонуло в садах, только выглядывали бурые и серые кровли.

Долина ручья была широка и полого, перегорожена плотинами, отчего образовались пруды. За прудами на той стороне виднелись в зарослях развалины старинного барского дома и ослепительно белая колокольня с растущим на куполе деревцом.

Было красиво, может быть, слишком. У Гали заколотилось сердце: она узнавала и не узнавала родимо места, и на миг она почувствовала счастье оттого, что она здесь.

Контора была заперта, спросить не у кого: до сих пор им не встретилась ни одна живая душа, словно село вымерло.

Они пошли по улице. На траве, на лопухах и подорожниках лежал серый слой горячей пыли. Под заборами куры лежали в пыли, открыв пересохшие клювы. За плетнями в садах повисли на ветках гроздь тугих зеленых яблок и краснели, как брызги крови, вишни.

Вдруг послышался какой-то странный, ни на что не похожий шум. Было в нем и скрипение, и рокот моторов, и тонкие выкрики, и все это сливалось в одно непрерывное «а-ла-ла-ла!».

Было похоже, будто массы людей взволнованно о чем-то кричат, и Галя, холодея и недоумевающе, прислушалась, а Волков и Степка не проявили ни малейшего беспокойства, шли себе, пробрались сквозь стену высоких кустов — и тут перед ними открылась необыкновенная картина.

Сколько видел глаз, земля была усыпана белыми движущимися точками. Это двигались утки, невероятное, неисчислимое количество уток. Все были белые, все кричали, так что больно становилось ушам.

Некоторые лежали на земле, но остальные непрерывно двигались, бежали толпами, незаметно оказывались в воде — пруда почти не было видно из-за птиц, и берег только угадывался — и плыли по воде, словно гонимый ветром пух, какими-то сложными массовыми кругами, куда-то судорожно стремясь и крича.

Чтобы попасть в утятник, достаточно было перешагнуть невысокую жиденькую изгородь из старых досок и жердей. Вдоль нее бегал костлявый хромой утенок и заглядывал в щели, ища выхода.

Волков нагнулся и схватил утенка. Он отчаянно затрепыхался, запищал; Волков усадил его удобнее, и тот замолчал.

Из сарая вышли мужчина и женщина. Женщина высыпала из ведер корм в корыто, и вокруг нее поднялось такое столпотворение, что казалось, ее собьют с ног. Утки лезли друг на друга, топтали слабых, опрокидывались.

Женщина — Галя разглядела, что это была молодая девка, плотная и краснощекая, — расталкивала уток ногами и продолжала наполнять корыта.

От крика у Гали заломило в висках. Видимо, утки были очень голодны. На всем пространстве утятника не виднелось ни травинки — лишь голая, выбитая земля в пуху и помете да кое-где пучками возвышалась крапива. Это была необыкновенная крапива: высокая, как конопля, с толстыми обглоданными стволами, она смахивала на молодые деревца.

Мужчина был низенький и худой, в потрепанном, выгоревшем костюме, и сам весь какой-то выгоревший, неприметный. На боку у него болтался фотоаппарат «Зоркий».

— Привезли тебе доярку, Иванов, вместо Денисовой, — сказал Волков. — Вот хорошая девочка, не обижайте ее.

— Мы никого не обижаем, — сказал Иванов.

— В первую очередь себя.

— Нас, Сергей Сергеевич, уж больше и обидеть нельзя.

— Так, начал прибедняться.

— Молотилку забрали? Шиферу не дали? Резину у вас год прошу!

— Ладно, сколько уток сегодня сдаешь?

— Тысячу. Больше не берут.

— А мог бы сдать?

— Пять тысяч хоть сейчас и через неделю пять. Все забито.

— Мистика какая-то! — с сердцем повернулся Волков к Гале. — Утки готовы, тысячи уток, народ ждет, а убить и ободрать некому. Комбинат мал, не принимает.

— Вы там покричали бы в обкоме, — сказал Иванов.

— Что обком — они все знают. Строители подводят.

— Строители завсегда подводят, — согласился Иванов, тоже обращаясь к Гале, потому что она добросовестно слушала. — Вот смотрите, обещали новый комбинат в январе. Сейчас уж лето. Ну? Это ж кричать надо, это ж их спросить надо: почему?

— Заслушивали их на бюро, — сказал Волков. — Строители готовы бы сдать, но их плохо снабжают. Нет стройматериалов и тому подобное...

— Значит, снабженцы виноваты! — воскликнул Иванов.  
— Снабженцы сваливают на совнархоз.  
— Так-так, совнархоз во всем виноват! — иронически покачал головой Иванов.

— Да нет же, — улыбнулся Волков, — совнархоз жалуется на Госплан, а Госплан на Госбанк.

— В таком случае господь бог во всем виноват, он один — и больше никто, — развел руками Иванов. — Только куда мне уток девать?

— Ладно, не нервничай. Было бы что, а куда девать — найдем.

— Пока найдем, у меня каждый день десяткидохнут.

— Отчего?

— Черт их знает, много слишком, затаптывают слабых, калечатся. От голода. Не было рассчитано такую ораву кормить. Сказано — по достижении трех килограммов сдавать. А у меня они по месяцу такие бегают. И лишнюю машину комбикорма жрут. Это что — хозяйственно?

Волков задумчиво чесал шейку утенка, который сидел у него на руках; утенок пригрелся и закрыл глаза.

— Сооружай клетки и гони уток на базар.

— Давно бы так.

— Я скажу Воробьеву!

— Надо спасаться!

— И по этому случаю нас сфотографируй. Научился?

— Из тридцати шести шесть получают.

— Давай сними нас шесть раз — один снимок как раз получится.

— Снять-то я могу... — пробормотал Иванов неуверенно, открывая футляр.

— Подумать только, какой кадр. Сюда бы самого Бальтерманца из «Огонька». Тридцать тысяч уток, и на горизонте недостроенный комбинат. Давай с Людмилой. Людмила!

— Ау! — откликнулась девушка с ведрами.

— Иди сниматься.

— Бя-гу! — Она побежала, на ходу снимая платок.

— Вот обезьяны, любят сниматься! — вздохнул Иванов. — Хлебом не корми...

— Тебя утки еще не съели? — весело спросил Волков Людмилу.

— Уж съели! Я их сама съем, я девка бядовая.

— Ты вот зачем у Марии мужа отбила и не отдаешь обратно?

— Пуцай отберет, я разве дяржу?

— Не стыдно тебе? Мария небось плачет.

— Пуцай плачет. И так попользовалась, будя, теперь мое время.

— Вот так они рассуждают, — вздохнул Иванов. — Справься с ними!

— Уж вы-то рассуждаете! — накинулась на него Людмила. — Умные такие больно! А мне что, прикажете век с вашими утками сидеть, свету не видать? На все село женихов — один Костька, у меня года идут. Не хочу сидеть в девках!

— Ну, ну, потише! — прикрикнул Волков, нахмурясь. — Вот заставим тебя отчитаться перед комсомольской организацией.

— А я не комсомолка!

— Вот поговорите с ними, — уныло сказал Пианов.

— У Марии ребенок будет, — сказал Волков. — Поймешь ее, когда у тебя тоже будет и он тебя бросит.

— Коль найдет лучше, пуцай бросает! А мне и то лучше, чем ничего. Я бядовая, не пропаду.

— Что-то ты слишком бядовая.

— А бядовым только и житье.

— На что он тебе сдался, дурья башка? Он же пьет, как сукин сын.

— А я ему еще подолью, за то и любит.

— Тьфу! — вдруг тонко и сердито плюнул Степка.

— Ты че-го плюес-си? — возмутилась Людмила. — Ты, что ли, меня возьмешь? Ну? Кто меня возьмет? Нечего плеватьсь!

Она повернулась и ушла, сердито гроыхая ведром.

Волков подумал и опустил на землю сидевшего у него утенка. Тот заковылял, жалко вспархивая крыльцами, к корыту, но там уже ничего не было, и его только потолкали, сбили с ног, он затрепыхался, полез, его опять сбили, он поднялся и отковылял в сторону.

— Этот не жилец, — сказал Волков.

— Нет, — подтвердил бригадир.

— Ты с ней построже.

— Что ей сделаешь? Школу бросила, мать хвора — не ходит, бабка старая. Одна всех кормит. А девка в соку... Слышит, как другие живут. Каждый хочет жить.

— Смотря, знаешь, как жить.

— Все это очень верно. Особенно если над вами не каплет. Оно к корыту не протолкаешься — не проживешь.

— Спрячь свой аппарат, все равно карточек не сделаешь, — раздраженно сказал Волков. — Тоже философ объявился!.. Идемте в коровник. Еще невест посмотрим.

Он засопел и решительно пошел прочь.



В этот момент Людмила показалась из дверей сарая с полными ведрами. Она насмешливо посмотрела на мужчин и с сердцем вывернула ведра в корыта. Поднялась новая утиная свалка. Людмила расшвыряла уток и вдруг запела — громко, сильно, каким-то необыкновенным, великолепным голосом:

Прощайте, глазки голубые,  
Прощайте, русы волоса!..

— Эй, Людмила! — сказал Волков строго. — Доиграешься. Много себе позволяешь, понятно?

— Отстаньте вы, начальник, — зло сказала Людмила. — Знаете одно — ездить-кататься да ялик чесать. Ну, судите меня, ну, стреляйте! Дармоеды, трепачи несчастные!

Она хлопнула дверью, и из сарая опять донеслась ее песня:

Прощайте, кудри навитые,  
Прощай, любимый, навсегда!..

— Она что у тебя, в самом деле с ночи до ночи? — строго спросил Волков.

— Зачем? Кузьминична сменяет с четырех часов.

— Распустился народ у вас, — мрачно сказал Волков. — Плохо, что у вас коммунистов всего двое, даже организации нет... Горлопаны всякие...

Видно, его душили обида и злость, ему хотелось доругаться, но он старался не подавать виду.

— Работает она, надо сказать, честно, — пробормотал Иванов.

— А как насчет воровства? Уток не воруют?

— Вот чего нет, того нет, — сказал Иванов. — Уток не воруют.

Пониже утиног пруда находилсѧ другой — просто пруд, сделанный словно по заказу старомодного художника, весь в лилиях, обросший ивами, роскошный и томный.

Впрочем, он потихоньку погибал: мутная зеленая вода из утиног пруда непрерывно текла сюда по цементной трубе и заражала его.

Над этим прудом, на бугре, стоял коровник.

Это было длинное кирпичное здание, крытое, однако, соломой. Ворота его были распахнуты и зияли чернотой, как беззубый рот. На крыше из соломы росли стебли ржи. На спуске к пруду стояла изгородь из жердей, отделявшая загон, где земля была черная, липкая, перемешанная с навозом.

Видимо, когда-то строители намеревались отгрохать коровник по всем правилам. Размахнулись они широко, вывели коробку, положили перекрытия с рельсом для подвесной дороги — и тут исчерпалась смета. Работы прекратились, и сооружение было законсервировано.

Коробка стояла несколько лет, поливаемая дождями и обдуваемая ветрами, потихоньку разрушалась, и после укрупнения новый председатель махнул рукой, велел навесить кое-как сколоченные ворота, навалить на потолок стог соломы — и так это славное сооружение, минуя полосу расцвета, сразу перешагнуло из своего рождения в упадок.

Это было странно и нелогично. Все равно как если бы накануне пуска Братскую ГЭС законсервировали по причине исчерпания сметы, потом она долго стояла, а потом новый начальник приспособил бы ее под водяную мельницу. Так и рудневский коровник, вместо того чтобы стать прекрасным механизированным и современным сооружением животноводства, оказался просто скверным хлевом.

Спору нет, явление исключительное, и статистически, может, таких коровников совсем немного. Но рудневым коровам от этого не было легче: они ни разбираются в статистике.

Мужчины и Галя пошли вдоль коровника, и Степка сказал:

— Пойду еще искупнусь, ладно?

Он отделился и запрыгал вниз, взбивая ботинками облачка пыли, снимая на ходу рубашку.

Тут Гале стало по-настоящему жарко, она почувствовала себя неважно. А вид коровника нагнал на нее что-то близкое к тоске.

За коровником оказались люди и стояла машина-цистерна с надписью

«Молоко». Женщина в соломенной шляпе ругалась с шофером. Она упрекала его за то, что приехал поздно: молоко уже могло прокиснуть.

Молоко стояло здесь же на солнцепеке в больших помятых бидонах; было странно, почему оно ждало машину именно на солнцепеке. Машина гудела: шофер втыкал в бидоны толстый шланг, а через него молоко всасывалось в цистерну.

Заметив Волкова, женщина перестала ругаться и заулыбалась.

— Сергей Сергеич, вот неожиданный гость! А мы запарились совсем. Вот скажите, как работать, если транспорт прибывает после обеда? Ну, полюбуйтесь! Вот хорошо, что партийное руководство само увидит. А у нас потом молоко не принимают. Пожалуйста!

— Маркин в аварию попал, я вторым рейсом пришел, — угрюмо сказал шофер.

— Часто так бывает? — строго спросил Волков.

— Да нет, сегодня первый раз, кажется, — сказал шофер.

— Ах, они когда хотят, тогда и приезжают! — всплеснула руками женщина. — Вчера пришел в пять часов, позавчера — в семь... А сегодня — полюбуйтесь.

— Что за черт, уж не прокисло ли? — удивился Волков, заглядывая в бидон. — Это утреннее?

— Холодильника у нас нет, Сергей Сергеич, сами знаете. Я неоднократно обращала внимание руководства.

— Вы бы хоть в тени поставили.

— Рабочей силы нет, Сергей Сергеич. Доярки распустились, я одна разрываюсь. Я не могу таскать бидоны, а их попробуй заставь — такого тебе наговорят!

— Слушай, что это у вас творится? — хмуро спросил Волков у Иванова.

— Это сегодня, — поспешно ответил бригадир. Молоко забирают утром, пока не испортилось. Корыто сделано, чтобы ставить бидоны в холодную воду, но они хранят в нем свои скамейки.

— А кому носить воду? — воскликнула женщина. — Я не могу одна носить, вы знаете, я человек больной, а их не могу заставить. Им и слова не скажи. Бегаешь, крутишься, ради общенародного же блага недосыпаешь, недоедаешь, а тебе еще упреки, заявления пишут!..

Она поднесла руку к глазам и всхлипнула.

— Какие еще заявления? — устало спросил Полков.

— На меня, какие же еще! Воробьеву подают.

— Я не видел.

— И хорошо, что не видели. Им верить нельзя, им лишь бы не работать. Никакой сознательности. А пуще всего Нинка Денисова!

— Денисова с завтрашнего дня свободна. Вот новая доярка вместо нее, знакомьтесь.

Женщина в соломенной шляпе быстро окинула взглядом Галя, приветливо улыбнулась, протягивая красивую тонкую руку:

— Софья Васильевна, заведующая фермой.

— Как у вас план? — продолжал спрашивать Полков.

— Стараемся. Выполнение положительное. Среднесуточный надой выше, чем в других бригадах. Получаем по четырнадцать килограммов молока от фуражной коровы.

— Неплохо. Для такой фермы неплохо.

— Ну как же! — обрадовалась заведующая. — Последнее решение обкома обязывает нас бороться за пудовые надои. Мы полны решимости достичь этого уровня.

Галя тем временем удивленно оглядывалась.

Шофер сложил шланг, завел мотор и поехал, ни с кем не попрощавшись, как лицо совсем постороннее.

Смуглая приземистая старуха принесла из пруда два ведра воды и принялась споласкивать бидоны. Ей, видно, было неохота и тяжело идти к пруду вторично — она сэкономила воду: сполоснув один бидон, переливала в другой и так далее. Раз сполоснутые бидоны она ставила вверх дном сушиться.

Галя все больше недоумевала: как это утреннее молоко стояло до сих пор, почему бидоны моются водой из пруда — и никто ничего не говорит, словно так и надо? Почему вокруг столько грязи, мусора, если достаточно пройтись граблями и убрать? Еще больше поразил ее коровник внутри.

Навоз здесь лежал таким толстым слоем, что нога ступала по нему, как по матрацу. Все вокруг было бурым от грязи, от потеков воды с потолка (солома наверху была скорее декорацией, чем защитой от дождя), окна в большинстве выбиты.

Мордами к окнам, хвостами в проход стояли в два ряда коровы на цепях. Их облепили тысячи мух. Коровы беспрестанно топали, обмахивались хвостами; цепи гремели.

Волков осторожно шел первым по проходу, с опаской поглядывая на размахавшиеся хвосты.

— Почему они голодные стоят? — спросил он.

— Это Панькин подкормку еще не привез, — объяснил Иванов.

— Чем подкармливаете? Викою?  
— Ну да. С овсом.  
— Свежим воздухом они их подкармливают! — раздался насмешливый голос.

В проходе показался молодой парень — рослый, загорелый богатырь с предлинным кнутом на плече.

— Свежим воздухом и молитвами, — весело повторил он. — Кабы я не гонял их на пашу, дали б ими нам четырнадцать литров!

— Что врешь! — сердито крикнул Иванов.

— Почему вру? Пусть парторг сам поглядит на кормушки, да там две недели ничего не было.

— Чего врать пришел сюда? — истерически крикнул Иванов. — Позавчерась давал вику с овсом. Ты чего наводишь тень? Смотри, Костька, доведет тебя твой язык. Распустились!

— Я вас не боюсь, — насмешливо сказал парень. — Без меня вы зашьетесь с вашей фермой. Ясно?

— Ты знай свое дело и не трепись. Пришел выгонять?

— Ну?

— Ну и выгоняй.

Наступило неловкое молчание, только фукали и громыхали цепями коровы.

Костя пожал плечом и стал отпускать коров. Ночуя свободу, они как-то поспешно, испуганно бежали к двери, за которой звонкий мальчишеский голос на них бодро закричал, послышалось хлопанье бича.

— В самом деле, что-то у вас нехорошо... — пробормотал Волков, заглядывая в кормушку: она была чистая, вылизанная — единственное чистое место в коровнике; и только на дне лежал гладкий кусок серой каменной соли-лизунца: соль, видимо, имелась на ферме в достатке.

— Не слушайте их, горлопанов! — воскликнула заведующая. — Сергей Сергеич, им вечно мало, им все не так. Мы работаем не покладая рук. Коллектив полон решимости выйти на первое место по управлению.

— Коровки у нас хорошие, — оптимистично подтвердил Иванов.

Волков задумчиво смотрел, как коровы бегут к выходу, огибая грубо сколоченное корыто, в котором лежали скамейки и разная ветошь.

— Слушайте, — вдруг сказал он глухим голосом. — Вы на отшибе, к вам ездят редко, вы что это, очки втираете?

— Сергей Сергеевич!.. — воскликнула заведующая жалобно.

— Еще весной я велел поставить громоотвод! — закричал Волков истерически, не слушая ее. — Где громоотвод?

— Извините, забыли, — виновато пробормотал Иванов. — Тут делов этих... сдохнешь, не упомнишь... Сергей Сергеевич...

— Вы все забыли, вы забыли! — продолжал кричать Волков, кажется, не на шутку распаляясь. — И подкормку забыли, и уход забыли, элементарные правила животноводства забыли. Для чего вам головы даны? Для того, чтобы ими глядеть? Или для того, чтобы ими есть?

Галя впервые увидела его в гневе. Такой он был некрасив, неестествен; даже становилось как-то неловко за него, хотя он говорил и правильно.

Заведующая и Иванов покаянно молчали, потупив глаза.

— Разгильдяи! Бездельники! Сами распустились — чего же вы от людей хотите? Ох, Иванов, не на своем месте ты, кажется, ходишь!

— Ну, снимите меня... — покорно и грустно прошептал Иванов, шевельнув руками.

И Гале вдруг стало его жалко, невероятно жалко.

Волков уставился на него ледяными глазами, потом резко повернулся и заходил туда-сюда. Он увидел у столба полуоторванную цепь, зло рванул ее — цепь оторвалась, он швырнул ее в открытую дверь, и цепь распласталась по земле, как змея.

На Иванова страшно было взглянуть. Волков достал платок, вытер красное лицо: внутри коровника было душно, дышать нечем, хотелось выйти скорее на воздух. Волков еще раз обтер лицо, шею, старательно сложил потемневший платок и положил его в карман.

— Да, так вот, значит, новая доярка, — сказал он тупо. — К кому ее устроить жить?

— Можно и к тете Моте...

— Она одна живет?

— Одна.

— Я на тот предмет, что если дети, так... В общем устройте. Где тут ее орудия производства?

Заведующая достала из корыта подойник и скамейку с нацарапанными надписями «Нина».

— Завтра первая дойка в полчетвертого.

— Хорошо, — сказала Галя.

Волков и Галя пошли к машине за чемоданом, а в коровнике сразу поднялся какой-то резкий разговор между бригадиром и заведующей фермой.

Пастух Костя щелкал огромнейшим бичом. Подпасок — мальчишка лет пятнадцати — бегал вокруг стада, как гончий пес, и направлял его. Получилось, что все пошли вместе — Волков, Галя, Костя.

Странно и неловко было смотреть на Костю. Он был так здоров, так красив, а одежда на нем была худа. Может быть, Галя после города просто не привыкла, а никто здесь этого не замечал?

— Ну, значит, теперь в пастухах? — мрачно спросил Волков.

— Мне нравится, — беззаботно сказал Костя.

— И не стыдно тебе?

— Чего стыдно? Работа почетная. Все ваши надои на мне да на Петьке держатся. И я люблю животных.

— Он комбайнер, — сказал вдруг Волков, обращаясь к Гале. — Он комбайнер и тракторист.

— Был! — весело сказал Костя.

— И назад не хочешь?

— Что мне, жизнь надоела?

— Так в пастухах век и проходишь?

— А мне хорошо. По крайней мере хоть работа чистая.

Волков, прищурившись, посмотрел Косте в лицо.

— Чего смотрите? — спросил Костя спокойно. — Небось так в парторгах век и проходите? А на трактор не тянет?

— Ты не знаешь моей жизни, Костя.

— А откуда вы знаете мою жизнь? — сказал Костя, подмигнул Гале, взмахнул кнутом и зашагал прочь.

Стадо удалялось в поле. Петька бежал прямо по картошке, лупил коров, сходявших с дороги; они шарахались, толкались, и он развил такую бурную деятельность, что стадо с необычайной быстротой, почти бегом, скрылось в облаке пыли.

«Москвич» на длинных ногах стоял у конторы ни солнце, раскаленный и пахнувший бензином. Степка копался в кабине.

— Купался? — спросил Волков.

— Нет. Подзагорел малость, вишен поел. Вода в пруду такая зеленая, аж противно смотреть.

— Поедем в Дубинку.

— Это еще зачем?

— Посмотрим...

— Что ж, в Дубинку так в Дубинку. Свиной смотреть, да?

— Свиной, — устало сказал Волков.

Галя добыла чемодан. От жары у нее была тяжесть в голове и во всем

теле.

— Я вот что хотел бы... — сказал Волков. — Вы свежий человек. Вы сейчас пойдете к Иванову, он вас устроит к тете Моте, а завтра вы начнете работу. Вы не могли бы посмотреть: что здесь такое делается? Что-то здесь очень нехорошее делается. Скажу вам прямо: у меня такое впечатление, что здесь наступило какое-то повальное разложение — от Людмилы до Иванова. Никого нет! Порядочного труженика нет. Все прекрасны! Не знаешь даже, на кого опереться. Слушайте, напишите мне. Или позвоните.

— Это у вас система? — спросила Галя, вспомнив деревенского стукача в кабинете Воробьева.

Волков не понял.

— Нет, только мнение ваше, больше ничего! — воскликнул он. — Может, я с ним не посчитаюсь. Недавно здесь было куда лучше. Поймите: у меня нет времени сидеть здесь и смотреть за каждым их подвигом, а нужно же понять, нужно разобраться. Идет?

Галя слегка пожала плечами; ей становилось все хуже.

Волков сел на переднее сиденье. «Москвич» взвыл, рванулся, бойко запрыгал по колеям, так что куры полетели по изгородям, и умчался, запылив всю улицу.

От пруда шли гуси — ровной, до смешного правильной шеренгой. Они шли весьма гордо, неторопливо, переваливаясь, тяжело неся свои жирные брюха.

Передний гусак остановился и внимательно, испытующе посмотрел на Галю. Все гуси за ним тоже остановились, не нарушая строя, и терпеливо ждали. Гусак что-то сказал Гале — мудро и очень убедительно. Он пошел дальше, все двинулись за ним, а он еще несколько раз оборачивался и повторял то же странное слово, справедливо подозрения, что Галя не совсем поняла его.



Пуговкину называли по-разному: и тетей Мотей, и Матреной Кузьминичной, и просто Кузьминичной; она работала второй птичницей на утятнике.

Она была одинока, потому что ее старика и двух сыновей казнили эсэсовцы как партизан. Старуха случайно избежала расстрела, более двух месяцев жила в поле, питалась мороженой картошкой, спала в стогах; и с той поры она была немного не в себе.

Все это рассказал Иванов, пока вел Галю на квартиру.

— То, что она не в себе, — ничего, — успокоил он. — Она просто молчит, только и всего. Зато изба просторная, и старуха в ней одна. Прошлым летом у нее жили практиканты-агрономы, остались довольны, и она тоже просила поселять еще.

Изба находилась за прудом, в той части села, где стояли белая колокольня и разрушенный барский дом. Иванов много и подробно рассказал о колокольне и доме, но Галя невнимательно слушала, и ей хотелось пить, хотелось забиться в какой-нибудь угол и уснуть.

Пуговкина оказалась дома. Она собиралась на утятник. Это была полная флегматичная старуха с большими руками, изъеденными черными трещинами. Она выслушала просьбу без всякого внешнего интереса, провела гостью в дом и показала закуток.

Изба была большая, но состояла вся из одной комнаты. Посредине возвышалась мощная русская печь, а от нее к стенам были проложены жерди. С этих жердей до полу свешивались выцветшие обои, создававшие иллюзию стен. Угол, отгороженный обоями, делился фанерной перегородкой пополам — таким образом получались как бы две маленькие комнатки, одна темная, в другой — окошко. В темной стояла кровать хозяйки, в светлой предложено было располагаться Гале.

Ей было все равно. Она поставила чемодан, договорилась о цене — все это как во сне. Договорилась с Пуговкиной, что будет столоваться у нее, посмотрела, где лежит ключ. Отдала документы Иванову.

Она ждала, чтобы они ушли. Но Иванов все разговаривал об утках, о погоде, о том, что Людмила распустилась. Старуха ходила по избе, тяжело топая.

Галя посидела в углу, не располагаясь, опустив руки, потом вспомнила,

как нестерпимо ей хотелось пить, и пошла в сени.

Вода была в помятом цинковом ведре с привязанной веревкой. Галя выпила две кружки, каждый раз не допивая до дна. Вода оказалась теплой и невкусной.

По селям бродили куры, стрекотали, выпрашивая есть, и косились на Галю желтыми глупыми глазами.

Вид у сеней был совсем нежилой, запущенный. Валялись какие-то серые от времени деревянные грабли, пыльные бутылки из-под керосина. Пол был земляной, загаженный курами, все углы оплетены паутиной.

— А пошли они к монахам! — сказал Иванов, выходя. — Не слушай их и не давай, тетя Мотя, хватит. Каждому комбикорм давать — без штанов останешься.

Он ушел, не прощаясь, словно не заметив Галю.

Галя села под избой на бревне, и тотчас куры сбежались к ней, вопросительно заглядывали и стрекотали так, будто не ели три дня.

У нее голова разламывалась и без этого крика; она замахнулась на кур, бросила щепку — и тогда удивленно подумала, что все это уже было, много раз было. И забылось до поры, даже, вернее, не забылось, а выглядело иначе, лучше, теплее, потому что было в далеком прошлом.

В начале 1943 года один из германских тяжелых бомбардировщиков, не пробившись к Москве, преследуемый истребителями, сбросил бомбы куда попало.

Четыре из этих бомб упали на село Руднево. Одна угодила в вишневый сад, две упали рядышком на улице, четвертая разнесла избу, где жила большая семья Макаровых. Из семьи не было дома только старшей дочки, которая в это время находилась в родильном отделении районной больницы.

Так, родившись на свет, Галя не обнаружила уже ни деда, ни бабки, ни братьев или сестер. Отца своего она тоже не знала, так как он погиб за полгода до ее рождения под Воронежем.

Мать ее была дояркой много лет. Ее портреты иногда печатали газеты. Она ходила вразвалку, руки ее всегда висели красные, растопыренные. Большую часть своей жизни она провела в коровнике. И Галя в основном выросла там же, среди коровьих хвостов.

Это не в переносном — в прямом смысле. Хвосты мешают дояркам работать, больно бьют по лицу, и Галя обычно держала хвосты, когда мать доила.

До семи лет Галя с матерью жила в Рудневе. Она знала оба пруда. Тогда по ним тоже плавали утки, но пруды были чище, в них водились зеркальные карпы.

Она знала колокольню и разрушенный дом, но не интересовалась ими и не знала того, что рассказал сегодня Иванов. Смутно помнила, что жили они на квартире в другом конце деревни и прежний коровник был там. Пуговкиной она не знала. Мать, должно быть, знала — в селе все знают всех.

Одним из самых странных воспоминаний детства были лягушата в пруду. Маленькие, как тараканы, они по вечерам прыгали по плотине, словно совершали великое переселение. Дети били их палками и визжали от страха. Никогда после Гале не приходилось видеть таких крохотных лягушек, и она не была уверена, верно ли помнит, не снилось ли это.

За селом тогда стояли два больших полуразрушенных амбара. Уходя на луг собирать щавель, Галя вместе с другими ребятами обшаривала амбары. Иногда они находили там гнезда с куриными яйцами, которые тут же выпивали. Это были таинственные, прекрасные, как в сказке, амбары, хотя не понятно, что могло быть в них особенного. Наверное, их нет уже.

За амбарами стоял танк — подбитый, распотрошенный внутри. Мальчишки забирались внутрь, опускали люки, а другие обстреливали танк камнями. Броня гулко звякала, это тоже было страшно, увлекательно, сказочно.

Уже в те времена Галя умела доить, только не хватало сил. Окончательно научилась в Дубинке, где жили потом, но то было плохое время, и там уже не было ничего фантастического или приятного, было только бесконечное чувство голода. Она попросилась в Руднево именно потому, что с давних пор оно казалось ей обетованной землей.

Сегодня она ничего не видела в Рудневе обетованного.

До приезда Галя рассчитывала найти кого-нибудь из тех давних друзей, несомненно, что кто-то да остался; но теперь у нее пропало всякое желание спрашивать или открываться самой. Кому это надо и кому это интересно?

У нее было ощущение, как у человека, который долго стремился домой, но, прибыв наконец, увидел, что в доме живут чужие люди, которые ему не нужны и которым не нужен он, и делать ему здесь, собственно, нечего — он попросил воды напиться и ушел, потому что дома просто не оказалось.

Вышла Пуговкина, повязанная платком, сказала что-то насчет помидоров и ушла на работу. Галя обрадовалась, что, наконец, в доме

никого нет, пошла в свою каморку, вытряхнула из чемодана все, что в нем было, книжки сложила на подоконнике.

Она нашла в сенях веник и подмела избу. Забавно было подметать: пол был в больших щелях, мусор сразу же проваливался вниз, и до двери ничего не домелось.

Занавески на окнах были в желтых пятнах, Галя решила завтра выстирать их.

На столе нашла она с десяток помидоров, ломоть хлеба. Она поела помидоров, посыпая их солью. Вспомнив, что нужно встать в три часа утра, она решила заснуть.

Она улеглась на кровати — под ней остро зашуршал жесткий соломенный матрац, — закрыла глаза и сразу забылась.

Когда она открыла глаза, было темно, как в могиле, и она не сразу сообразила, что ее разбудило. Но прекрасно помнила, где она находится.

За фанерной перегородкой зашуршал матрац, и вдруг раздался гулкий, нехороший стон старухи:

— У-у-у...

Гале стало не по себе, но потом она сообразила, что у хозяйки что-то, верно, болит. Ей страшно хотелось спать, дальше спать. Она закрыла глаза, но стон повторился и снова разбудил ее.

— Вам помочь? — спросила она, привстав.

Хозяйка ничего не ответила, и только раздалось все то же:

— У-у-у...

Старуха что-то пробормотала, но Галя не разобрала. Она опять закрыла глаза и тут ясно услышала, что бормотала старуха.

— У-у, — стонала та, — робенки мои...

Галя больше ничего не помнила. Она провалилась в новый сон, как в яму.

И вот автомобиль «Москвич» на своих длинных ногах кружился по нескончаемым дорогам среди пшеницы, гречихи, дороги кончались, и Волков с шофером, хохоча, купались в провальных озерах.

Прибежал председатель колхоза, тяжело дыша, принялся на них грубо, визгливо кричать:

— Укралі пять мешков пшеницы! Высадите их подальше, а сами идите прямо в погреб!

Тогда они опять помчались по бесконечной дороге прямо через гречиху, и вокруг было так тепло, жужжали пчелы, воздух гудел от них, и

дороги больше не стало, была сплошная духота, шофер и Волков сникли и растаяли как дым.

Автомобиль шел один. Ему кричали, махали, показывая, что там нет дороги, нет совсем, никто не ездил. Галя ухватила за руль, пытаясь его повернуть, но не имела сил сделать это, а машина несла ее, упрямо вырывая из рук баранку, и у Гали от ужаса выступил на лбу холодный пот: она поняла, что теперь у нее нет своей воли, нет даже права на нее, теперь она должна была, раз сев и эту машину, нестись, куда вынесет. Она стала бессильна что-либо изменить, предпринять, бессильна бороться с этой машиной.

— Вставай, три часа, — сказала Пуговкина, зевая.

Галя вскочила, дрожа, кинулась надевать босоножки, не попадала в рукава платья. Ее била дрожь, стучали зубы, все из-за открытого окна — почему и когда оно было открыто, она не могла вспомнить.

— Поешь! — крикнула Пуговкина вдогонку, но Галя только мотнула головой; косынку она уже повязывала на ходу.

Было раннее-раннее утро. Все вокруг казалось сырым и серым. Солнце еще не всходило, но в небе уже горело одно-единственное растрепанное облако и бледнела луна.

Лишь увидев за старинными липами развалины церкви и услышав отчаянный рассветный концерт воробьев, гнездившихся в кустах, которыми поросли колокольня и спрятавшаяся в зелени церковь, Галя проснулась и сообразила, что напрасно торопилась. Надо было перехватить хотя бы хлеба с помидорами.

Она пошла тише, выбирая дорогу, с удивлением рассматривая церковь и любуясь ею.

Теперь она вспомнила, что рассказывал вчера Иванов, и, как ни странно, вспомнила ярко и точно.

Колокольня и церковь были выстроены в 1702 году боярином Рудневым, владельцем многих тысяч душ. Последними жертвователями были князья Оболенские. Это им принадлежал дом, подожженный крестьянами в шестнадцатом году, — развалины его сохранились. Последний молебен в церкви отслужили деникинцы, готовясь к взятию Москвы. После в церкви разместился клуб, превращенный в тридцатых годах в склад. В 1942 году в церкви были заперты и замучены семнадцать пленных красноармейцев, которых нашли и похоронили после отступления немцев. Сейчас церковь использовалась под зернохранилище.

А на колокольне, недостижимые для мальчишек, жили колонией вороны, и в каждой трещине гнездились воробьи, голуби. А вокруг росли буйные, положительно непроходимые заросли шиповника, черемухи, бузины, крапивы, дикой конопли и еще бог весть какой цепкой и упрямой растительности, и все это скатывалось зеленым валом к пруду, который в этот ранний час исходил паром и казался неподвижным зеркалом.

По противоположному берегу его краснело строение фермы, под ним на скамье блистали бидоны, а коровы, желтые, черные и бурые, неподвижно лежали или стояли в загоне.

Опять при виде фермы у Гали сжалось сердце. Она подумала: «Да, вот она такая. И отныне это моя ферма, мой дом, рабочее место, университет».

По загону угрюмо бродила одна-единственная доярка — большая, неуклюжая, лет двадцати пяти. У нее было белесое лицо, словно обсыпанное мукой: и глаза, и ресницы, и брови белесые.

— С добрым утром, — сказала Галя робко.

— А она дрыхнуть! — вдруг закричала доярка хрипло и зычно. — Она дрыхнуть, вот погляди ж ты, до пяти будет дрыхнуть, а придет, запишет — и фить к своему Цугрику!

— Кто? — опешила Галя.

— Заведующая наша, кто ж! — буркнула доярка, швыряя бидон так, что он чуть не лопнул по швам.

— Меня зовут Галей, буду работать вместо Нины, — сказала Галя. — Как вас зовут?

— Ольга. Ну-у! Покрутись у ми-не! — заорала доярка на корову.

«Ну и злющая! — подумала Галя. — Если я опоздаю, она так же будет орать. Назло им не буду опаздывать, буду вставать в два часа».

Галя вошла в пустой коровник, отобрала из корыта подойник, скамейку и консервную банку с вазелином с метками «Нина».

— Покажи мне Нинкиных коров, — попросила она Ольгу.

Та пролезла под жердью в загон, подошла к дородной рыжей красавице, толкнула ее с силой сапогом.

— Ну-у! Вставай! Слива, ну! Не выпалась?

Слива моргнула влажными печальными глазами, зафукала и медленно поднялась. Она махнула хвостом, и Галино лицо оказалось все в мелких навозных брызгах. Она вытерлась и услышала запах керосина. Керосином отдавал вазелин.

— Чё нюхаешь? — насмешливо спросила Ольга. — Солидол это. Хорошо, у трактористов достаем... А ей только дрыхнуть! Только дрыхнуть да к Цугрику бегать! Погибели нету!

Она плюнула и ушла, загремела ведрами. Слышно было, как подходили доярки, сонно здоровались, коротко покрикивали:

— Цитра, подымись!

— Стой, Зорь!

И — «дз-дз-дз!» — первые звонкие и веселые струйки молока о дно подойника.

Галя пристроилась к вымени, сжала коленями подойник, с бьющимся сердцем взялась за соски: «Дз-дз!..» Струйки потекли и прекратились.

Она тянула, выжимала, беспомощно оглядывалась на корову. Слива спокойно стояла, пережевывая жвачку. Соски были пусты.

Галя выпрямилась, передохнула и осторожно огляделась: видят ли ее позор?

Кажется, еще никто не видел. Она снова взялась, тянула, жала — в сосках не было ни капли молока. Галя хлопала по вымени, толкала его, разминала — разбухшее, переполненное, во вздувшихся синих жилах. Она умоляла: «Ну давай же, ну что ты, почему?»

Наконец корове надоело стоять, она шагнула, наступив Гале на ногу. Галя охнула, из опрокинувшегося подойника вылилась рюмка надоенного синего молока.

Сцепив зубы от боли, прихрамывая, Галя погналась за Сливой, путаясь в ведрах, банках и табуретке. Корова дошла до куста и остановилась. Галя поскорее присела, с надеждой потянула соски.

«Кажется, я неправильно дою, я все перезабыла... Бывают коровы трудные, но надо пересилить, вот так, кулаком сверху донизу, чтобы работали все пальцы...»

Отовсюду уже несло не звонко «дз!», а глухое урчание молока в пене подойника.

Солнце взошло, блеснули остатками позолоты ржавые купола церкви-зернохранилища. Проснувшееся воронье разоралось, разлеталось кругами возле колокольни. А Галя билась со Сливой.

Вдруг она услышала подозрительное рычание. Она подняла голову — и обмерла: прямо к ней медленно приближался массивный, толстоногий бык, который, оказывается, свободно жил в стаде. Он был весь гладкий, лоснящийся, как торпеда, черный, с седой полосой по хребту, вырванными ноздрями и короткими черными, будто лакированными, рогами. Это был породистый бык, красавец бык, но Гале было не до этого. Несколько побледнев, она встала за куст, надеясь, что бык не заметит ее, ибо быки плохо видят.

Но он уже заметил, он слышал незнакомый запах. Он подошел к кусту с другой стороны, совсем близко, так, что, просунув руку сквозь ветки, она могла бы дотронуться до его тупого лба, и зарычал с угрозой, с какой-то слепой kloкочущей яростью.

«Если он двинется в обход, то это ничего, — подумала Галя. — Но если он пойдет через куст...» Бык пошел в обход. Она тоже пошла, не упуская спасительного куста между собой и быком. Он остановился, тяжело хрипя и как бы размышляя.

— Эй, Лимон, погибели на тебя! — крикнула Ольга издали. — А вот я тебя!..

Она швырнула кусок навоза. Лимон раздраженно зарычал.

Ольга схватила какой-то кол и огрела его по спине. Грозный Лимон



фыркнул и затрусил прочь, обмахиваясь хвостом.

— Вот так все они, мужики-то, молодцы против овцы, — неожиданно заключила Ольга. — А ты чё скуksилась? Как сунется — скамейкой его промеж глаз. Дай-ка ведро.

У Гали отлегло от сердца, но уши ее горели от стыда. Она не знала, что доярки перемигнулись: а новенькая, мол, ничего, не завизжала, не побежала с криком, а ходила вокруг куста, сообразила, молодец!

— Он чужих не уважает, Лимон наш, — сказала Ольга. — Он скоро к тебе привыкнет.

Она подсела к Сливе, потянула раз-другой за соски.

— Слива, умница... Чует, хозяйки нет, не отдает, поганка.

Она похлопала корову по спине, бокам, холке, — все ближе к голове, гладила морду, приговаривая:

— Ну вот, умница моя, хорошая моя, нониче у тебя новая хозяйка, ты же будь умница, слушайся...

И, достав из кармана какую-то корку, сунула корове.

— Дой скорее, и сразу, бойчей!

Корова слизнула корку, а Галя бросилась к вымени, энергично стала доить, и молоко пошло, сначала слабо, потом сильнее, потом словно открылись краны глубокой цистерны. В подойнике поднялась шипящая пена. Галя торопилась, не смахивала пот со лба, не убирала с глаз волосы, только втягивала голову, когда коровий хвост грозил хлестнуть по лицу. Она доила, пока пальцы не онемели, спешила выдоить до последней капли, помня наставления матери, что молоко тем жирнее, чем ближе к концу, а последняя капля самая жирная.

Грело солнце, поднимаясь. Галя стала вся мокрая.

«Одна корова есть, — с облегчением подумала она. — Еще одиннадцать...»

Следующей ей показали Белоножку.

— Тугосися она, — сказала Ольга. — С нею намучаешься. Слива — та хорошая коровка, с ней только отдыхать.

Солнце уже крепко припекало, когда Галя кончила отчаянную войну с Белоножкой; и когда она разогнула спину, руки ее уже не держали дужку ведра, глаза заливал зеленый пот, а в груди комком стояли рыдания.

Некоторые доярки кончили доить, полоскали марлю, сквозь которую процеживают молоко. А Галя переходила к третьей корове — Тальянке.

Она досадливо отмахнулась от быка, который опять попробовал за ней увязаться, — просто у нее не было сил и времени думать о нем, и он, как ни

странно, действительно отстал, просто ушел себе и стал чесаться о столб.

Галя чуть не плача гладила и ласкала Тальянку, упрасивала, толкала вымя кулаками, выдаивала пол-литра, отдыхала, потом выдаивала еще стакан. Ей все казалось, что руки сухие; она израсходовала полбанки солидола и думала лишь одно: вот струйка, вот еще струйка, еще стакан...

Потом таким же образом последовали Комолая, Пташка, Амба, Арка и Вьюга. Все доярки давно помыли посуду и разошлись. Одна только Ольга нерасторопно возилась, толкала коров. Она еще не кончила доить, и это поддерживало Галя.

«Ну, еще четыре коровы, — считала про себя Галя, едва передвигаясь от усталости и переживаний. — Четыре коровы, а тогда до обеда все, руки отдохнут».

— Ты Чабулю еще подой, — сказала Ольга, — а этих трех я уже опростала. Молоко я в твой бидон слила.

— Спасибо. — Галя оторопела.

— Ладно. С непривычки, знамо, трудно. Привыкнешь. Работа простая, да муторная. Ты когда училась-то?

— Мама была доярка.

— Померла?

— Откуда ты знаешь?

— Иначе б ты не пошла. Ну-у! Стой, Лимон, чтоб тебя!..

Когда Галя принесла последнее ведро, у фермы уже стояла вчерашняя голубая автоцистерна «Молоко», и шофер, сняв шланг, равнодушно совал его в бидоны, и шланг сосал, хлюпал, как поросенок. У машины стояла заведующая Софья Васильевна в своей кокетливой соломенной шляпке. Она только что пришла.

Ольга, не здороваясь, прошла мимо, взяла свои ведра и пошла к пруду полоскать.

Галя последовала за ней. Берег пруда был в ямах от копыт, подойти нельзя было, не разувшись. Галя сняла босоножки и забрела по колено в воду. Она подержала горящие руки в воде.

«Привыкну, — подумала она. — Кончать буду со всеми, и руки не будут болеть, это все придет. Завтра, или через месяц, или через год».

«Ольга лучше, чем я сначала думала, — решила Галя. — Она груба, потому что ей обидно. Она права, хотя я еще ничего не понимаю. Она красивее, чем мне показалось сначала».

Больше она ничего не думала: солнце нажгло голову, и все вокруг покачивалось, расплывалось.

Разрушенная церковь-зернохранилище, роскошные купы лип и белоснежные облака дивной картиной отражались в пруду, но она этого почти не замечала, как почти не слышала, что поют петухи, что где-то хлопнула первая дверь и первая старуха, которой, верно, всю ночь не спалось, решила задать корму поросенку.

Раздались мужские голоса, и Галя увидела пастуха Костю и его помощника Петьку. Они стали открывать ворота загона, а Костя подмигнул Гале, дружески улыбаясь:

— Приступила?.. Ну, держись, бедолага... Сейчас ты беги домой и спи, сколько сможешь. Жарко в избе, а ты в огород — и там спи. Иначе не вытянешь. А руки в мокрое полотенце заверни. Вон они у тебя какие тонюсенькие. Скоро не такие станут...

— Спасибо, я так и сделаю, — пробормотала Галя, смущенная и благодарная за эти первые по-настоящему теплые слова.

— И какая из тебя доярка! — добродушно сказал пастух. — Шла бы ко мне в подпаски!

Стадо повалило из загона, и Петька отчаянно лупил строптивого Лимона, а с поля понесся опьяняющий, сказочный, непередаваемо душистый ветер; и, почуяв этот ветер, коровы поднимали морды и взволнованно мычали. Костя выстрелил кнутом раз, другой, третий, и стадо быстро, компактно пошло и пошло, почти бегом, удаляясь, подняв тучу пыли. И залаяли собаки. День начался.

Галя побрела через плотину — и вдруг увидела под ногами крохотных, как тараканы, лягушек. Они прыгали в одну сторону, возвращаясь, наверное, с ночной охоты по домам, а вокруг голосили петухи; и один, крохотный, общипанный, без хвоста, с едва наметившимся желтым гребешком, перебежал дорогу, хлопнул крыльцами и просипел: «Чиики!..»

А у Гали дрожали губы, потому что болела нога, и в самых костяшках пальцев рук поднялась ломящая боль. Руки повисли устало, растопыренные. Она вся успела пропахнуть насквозь навозом и молоком. Как просто: сделала положенные тысячи сжатий — и стала дояркой...

## **Вторая часть**

Давно уже научно и антирелигиозно доказано, что человек живет один раз. У каждого бывает одно имя, одна дата совершеннолетия и первая зарплата, один неповторимый день, когда он впервые понимает безграничность мира. Бывает один, как у Наташи Ростовой, первый бал, одно первое свидание, первый поцелуй и первая любовь.

Потом будут еще зарплаты, будут любви, думы о мире, может смениться фамилия, будут свидания, но первого такого свидания уже не будет и не будет больше первой любви.

К большинству людей это первое приходит трудной ценой, как нечто едва ли не запретное, а потому часто скомканное, и это очень обидно.

В юности мы учимся. Но учеба при всей ее прелести не самоцель жизни, а лишь подготовка к ней.

В юности мы работаем. Но работа в эту пору редко для кого уже найденное призвание, скорее всего лишь поиск призвания и просто средство к жизни.

В юности большинство людей неустроено и зависимо. Иные озабочены пустячными проблемами жилья, одежды, мелких благ, которые для зрелого человека уже не проблема. Или, наоборот, одержимы сомнительными идеями жертвенности и полного отрешения от личной жизни и благ.

Придет время, человек выучится, найдет свое призвание, освободится от досадных опеки, и вообще будет у него многое из того, к чему он стремился, но уже не будет юности.

Стала ходячей фраза: «Юность моя пролетела, а я и не заметил».

Счастливая пора детства. Не всегда она была такой, но сейчас вряд ли кому придет в голову требовать от ребенка заработка на хлеб или отказа от жизни во имя чего-нибудь. Жаль, что ребенок не дорос, чтобы оценить свое счастье. Ценят детство уже взрослые, а не дети. Детство прекрасно для каждого только как воспоминание.

Когда-нибудь, когда люди перестанут тратить сумасшедшие средства на военные убийства, станут богаче и вообще будут жить умнее, они, может быть, придумают какой-нибудь остроумный выход и будут больше, чем теперь, уважать свою юность. Потому что не детство самая прекрасная пора человека, да и не зрелость, а все-таки юность!.. Завидуем тем потомкам, которые это поймут.

Однажды, когда уже совсем стало немоготу, старая Макарова накопила четыре десятка яиц и отправилась в город на базар. В городе она остановилась у дальней родственницы, лифтерши.

Та ее сагитировала оставить деревню и подыскала место сторожихи. Потом она умерла, Макарова наняла ее место лифтера в гостинице, и так началась для Гали с матерью иная жизнь.

Галя была девчонкой диковатой, в городской школе училась без успехов: после деревни требования были не те.

Мать не могла нахвалиться новой работой: спокойно, тепло, легко; сиди себе, тыкай пальцем в кнопки. Иногда Галя каталась с ней.

Через лифт проходили вереницы людей: озабоченные командированные с одинаковыми лицами, неизменными портфелями и бутылкой кефира в кармане; шумные, безалаберные артисты гастрольных бригад; заносчивые, балбесистые футболисты; то вдруг гостиницу заполняли хитроватые юркие дяденьки-промкооператоры, съехавшиеся на совещание; то по коридорам слонялись унылые, молчаливые фигуры шашкистов, участвовавших в розыгрыше первенства по stokлеточным шашкам; проезжали расфуфыренные дамы с лысеющими прилизанными спутниками и богатыми чемоданами, которые доставлялись отдельно благоговеющим швейцаром; по десять человек набивались в лифт звонкоголосые участники комсомольской конференции.

Участники конференции питались ситро и колбасой в перерывах между заседаниями. Футболисты составляли в ресторане столы и питались научно, по спецзаказу. Шашкисты жестоко пили, потом некоторых тащили в номера под мышки. Кооператоры пили шумно, бойко, с поцелуями, но уходили всегда своими ногами. Артисты, кажется, не пили и не ели вовсе. А расфуфыренным дамам ужин с вином подавался в номер, его возили в лифте на подносах, покрытых белоснежными салфетками.

Галя все видела, хотя многого и не понимала, и ей хотелось сначала быть расфуфыренной дамой, потом участницей комсомольской конференции, потом артисткой, но, закончив школу, растерявшись и поддавшись матери, она стала гардеробщицей в Горном институте.

Целыми днями она принимала и подавала пальто, у нее уставали руки, опять перед ней чередой проходили люди, а она думала, слушала радио.

Потом она пережила короткий роман с одним из студентов института, который ей не нравился, но ей льстило, что в нее влюбились. Она ходила с ним на танцы, позволяла держать свою руку в кино, даже целовалась.

Потом в нее влюбился другой студент, и с ним повторилось то же, только не так интересно. В третий раз это было еще неинтереснее, так что она даже расстроилась.

Дважды она пыталась поступить в институт (для того, по совету умных людей, и работала в нем), но так как горное дело было ей чуждо, а прошлые школьные успехи не блестели, она оба раза резалась, особенно не печалась.

Ей хотелось такого... чего-то такого, настоящего, огромного. Ни мать, ни соседи, ни подружки, ни ухажеры не могли объяснить, где «оно». А «оно» где-то было, и от предчувствия, что оно может случиться, замирало сердце.

Однако его долго не было, и однажды Гале открылась ее судьба: выйти замуж за одного из студентов, уехать с ним, быть доброй женой, ходить на рынок и в «Гастроном», рожать детей, растить их — вот и «оно».

После этого ей пришла мысль, что нужно покончить с собой. Стало даже каким-то щемящим наслаждением думать об этом: она задерживалась у перил мостов, смотрела на колеса трамваев, носилась с этим, пока не поняла, что она набитая дурочка. Тогда она махнула рукой и попросту поплыла по течению.

Многие люди не строят свою жизнь, потому что не умеют или не могут этого делать, а отдаются течению и не мудрствуют лукаво. С них достаточно и того, что они постоянно разрешают проблемы и заботы, которые высыпает перед ними каждый день, словно из рога изобилия.

Даже многие из тех, кто воображает, будто строит и планирует жизнь, всего-навсего принаравливаются к обстоятельствам течения и оборачивают их в свою пользу, отчего, может быть, плывут быстрее, но все по тому же руслу.

Некоторым удастся, однако, так повернуть свою жизнь и так попереть против окружающего течения, как это получилось, например, когда-то у Ломоносова.

Нужно иметь много жажды жизни и мужества, а вернее, доверять им, чтобы вырваться из того течения, которое тебя не устраивает, которое угнетает, которое не твое, но цепко держит своими вполне реальными и материальными присосками, — и тут уж один выход: их нужно рубить, сколько бы крови ни вышло.

В принципе рубить надо довольно часто, потому что объективно равнодушная судьба помещает нас сплошь и рядом не в те реки и моря, на которых хотели бы мы видеть свои корабли.

Если бы не такая рубка, человечество не имело бы, скажем, Гогена, а был бы биржевой маклер; не было бы Чайковского, а был бы заурядный чиновник; беря ближе к современности, не были бы освоены Центральная Сибирь и целина; а говоря еще конкретнее, не было бы Гали-доярки, а была бы Галя-гардеробщица.

В тот день все было так же, как и в другие дни.

Мать взяла кусок хлеба с маслом, яблоко и пошла на работу. Дочка взяла другой кусок хлеба с маслом и тоже пошла на работу. Вдогонку им сосед Кутувенко крикнул:

— Я вас научу хлопать дверьми, в другом месте похлопаете!

У них были интересные соседи.

Самую большую комнату в квартире занимал нестарый еще пенсионер Кутувенко с женой. Прежде он двадцать пять лет проработал следователем и на этой почве стал шизофреником (а может, и всегда им был, но в преклонных годах болезни проявляются ярче).

Комнату рядом занимала пара бухгалтеров — муж и жена, тихие и бездетные. У них пройти нельзя было — столько они накопили вещей; и больше всего на свете они ценили спокойствие и свое здоровье, словно, как Тимоти Форсайт, решили во что бы то ни стало дожить до ста лет.

В третьей комнатке, поменьше, жила старая актриса, некогда певица, а теперь активная посетительница концертов и знакомых. Она рассказывала, с какими знаменитостями пила чай, какие прекрасные апартаменты были у нее до войны в доме, который разбомбили, и она много лет хлопотала, чтобы ей дали новые такие же. За этими хлопотами она коротала дни, хотя ясно было, что апартаментов она не получит и вообще всем надоела и зажила на свете.

Макаровы жили в самой крохотной комнатке, но именно она служила яблоком раздора.

Соответственно числу квартиросъемщиков квартира делилась на четыре ярко выраженных лагеря.

Злодейским началом был Кутувенко. Он поставил целью своей жизни выселить Макаровых и за счет их клетушки увеличить свою жилплощадь.

Утро начиналось с грохота в дверь, от которого просыпалась квартира.

— Гражданка Макарова! — гремел Кутувенко. — Вы что, неграмотная? Вам что, нужно персональное приглашение убирать коридор? Может быть, вас пригласить куда следует?

Сонная Макарова поспешно одевалась и шла за веником.

По опыту все знали, что возражать бесполезно, он будет вопить хоть



до вечера. Через пять минут голос гремел:

— Эт-то что еще такое? Вам кто разрешил мести в ту сторону? Здесь не деревня, где вы привыкли мести сор на улицу из ваших кулацких изб! Последний раз указываю, что мусорное ведро на кухне! Извольте выполнять правила социалистического общежития! Я из вас выбью эти вражеские замашки!

Если Макарова что-нибудь возражала, он свирепел:

— Эт-то что за разговоры? А за решеточку не хотите? За решеточку!

Вряд ли Кутувенко слышал об Ильфе и Петрове, но он ввел порядки, списанные с Вороньей слободки.

Он ввинтил всюду лампочки по шестнадцать ватт, так что в коридоре было темно, как в погребке. Сражение за электроэнергию началось шесть лет назад, и, как памятники ему, на стенах возникли четыре отдельных счетчика. В уборной, ванной висели таблицы: «Уходя, гаси свет». Стены кухни были увешаны обведенными красным карандашом подекадными расписаниями на весь год: «Расписание уборки коридора», «Расписание уборки кухни», «Расписание уборки ванной и туалета», «Расписание очередности уплаты за счет в местах общего пользования», распределение уплаты за газ, за воду, за канализацию и т. д.

К Кутувенко никогда не приходили гости, но кто бы ни входил с улицы — моментально распахивалась дверь в конце коридора, и сам Кутувенко либо его жена сверлили глазами вошедшего, так что незамеченным никто не мог проскользнуть.

Жена Кутувенко была неряшливая, глупая, толстая, платье на ней висело сзади на пять пальцев ниже, чем спереди. Она готовила на кухне всегда одну и ту же какую-то мерзость, отчего задышалась вся квартира. Затем Кутувенко перекрывал под потолком газовый кран и уносил лесенку.

От этого особенно страдала маленькая актриса, потому что даже со стула не могла дотянуться до крана, и она завела в своей комнате электроплитку на такие случаи.

Бухгалтеров Кутувенко не трогал: видимо, боялся мужчины. Зато над женщинами измывался, как хотел. Даже если он не скандалил, а просто шаркал по коридору, сидеть в квартире было тягостно. Все, конечно, понимали, что человек болен, что у него все в прошлом и не надо с ним связываться, но не связываться было трудно.

Особенно возмущалась и выходила из себя нервная актриса.

— Я не могу, я сойду с ума, — повторяла она.

Они с Макаровой бегали жаловаться друг другу, обсуждали новые демарши противной стороны, обнадеживали друг друга, что скоро уйдут из

этой квартиры. Макарова первая ушла — несколько неожиданным способом.

Весь день она ездила в лифте вверх-вниз, думая невеселые думы о своей жизни, заботах, о прошлых и предстоящих ссорах с Кутувенко, и стало ей плохо, так плохо, что хоть выходи и помирай.

Она остановила лифт, вышла на площадку пятого этажа, и ее странно затошнило, а сердце упало. Она села на пол, а когда открыла глаза, дом уже лежал на боку. Блестящий паркетный пол был стеной слева, а потолок с люстрой очутился на месте стены справа. По паркетной стене боком, словно невесомая, бежала горничная с испуганным лицом, туфли ее остановились перед самыми глазами лифтерши и стали меркнуть. Тут Макарова ясно поняла, что умирает. Ей стало страшно жаль дочку, которая останется одна, без роду-племени; она подумала, что надо бы попросить актрису позаботиться о дочери, потому что та одна пропадет среди чужих людей.

Доярок было семь, все они были люди разные, со своими странностями, но все одинаково не любили заведующую.

Не любили за то, что она не трудит руки, приходит поздно, что на ферме беспорядки, что у нее ость любовник — зоотехник Цугрик, что она купила диван, зеркальный шкаф, что носит шляпу и так далее.

Доярки с ней не разговаривали, а дела шли сами собой. Каждый выполнял положенный минимум и уходил, остальное его не касалось.

Сначала Гале показалось, что заведующую ненавидят без причины. Просто люди, которым приходилось тяжело работать, обращали свою обиду на начальство, которое, по их мнению, болтало языком, а не работало, как они.

Правда, сердце разрывалось при виде голодных коров. Правда, заведующая могла бы приходить на ферму не только для того, чтобы сдать молоко. Действительно, было интересно, на какие деньги она покупает новую мебель. А шляпа — остроконечная, с грязным голубым бантом — была дико безвкусна. И Галя открыла, что сама ненавидит заведующую, как все остальные.

## ОЛЬГА

Это была мощная женщина: высокая, дебелая, с громадными, полными руками, она вся так и выпирала из старенького ситцевого платья. Голос у нее был зычный, как труба; и когда она принималась обзывать заведующую выдрой, стервой и так далее, это было слышно половине села.

Ольге не хватало волос: они росли у нее жиденько на маленькой голове; и она ничего лучше не могла придумать, как заплетать их в две мышинные косички, отчего голова казалась еще меньше.

Ольга была очень сентиментальна. Найдя у дороги цветочек, обязательно втыкала его в косичку за ухом, в карман, в петлю, так что иногда она вся была в цветочках.

Она работала дояркой десять лет и рассказывала о каком-то «золотом веке» на ферме, когда грели котел, а коровы ели отруби.

Коров она лупила и любила. Кажется, она не проводила

принципиальной грани между ними и людьми. Когда она думала, что ее не слышат, беседовала с какой-нибудь Зорей примерно так:

— А я ему, слышь, Зорь: «Нема дурных, отваливай, я мужняя жена, и какой у мене ни есть муж, и какой ни дом, а все ж ты мене своим дубовым шифоньером и никелевой кроватью не купишь». Вот так, стерва Зорька, чё фукаешь? Жри!

Муж ее был трактористом. Несколько раз приходил — щупленький, чумазенький, только зубы блестят. Тогда у Ольги все падало из рук, на полуслове прекращалась ругань. Ольга на цыпочках, вся расцветая, бежала к мужу. Они отходили к пруду и долго тихо о чем-то беседовали, улыбаясь. Муж был тихий-тихий, застенчивый молчун.

Однажды Галя пошла с Ольгой в поле. Дело в том, что после дневной дойки Ольга не шла домой, а несла в узелке обед мужу, и, как бы далеко он ни работал, она находила и кормила его. Это было не потому, что он требовал, но просто он был «какой ни на есть муж» и святая обязанность жены была снабжать его обедом.

Они долго шли полевой дорогой. Вокруг было хорошо, щебетали жаворонки и пахло сено. Хотелось зарыться в сене и спать. Галя хронически не высыпалась: днем съедали мухи, а ночью старуха стонала, поминая своих «робенков».

Вдруг где-то далеко послышался трактор, и Ольга встрепенулась, почти побежала через стерню напрямик. Они бежали полчаса, пока добрались до луга, где колесный трактор сгребал сено.

Муж остановил машину и ждал улыбаясь. Ольга неуклюже вскарабкалась на трактор, поставила узелок на раскаленный капот, и они стали целоваться, нежно, осторожно, сентиментально, «как голубки». Галя ошалело посмотрела и отвернулась. На обратном пути Ольга крыла заведующую самыми последними словами.

Гале довелось посмотреть и «какой ни на есть» Ольгин дом. Она вызвалась скроить ей платье, они вечером пошли. Это было незабываемо.

Миновали церковь, углубились по тропке в лес, потом через поляны, засаженные картошкой, через болота по шатким мостикам. И вдруг взошла луна. С земли, с болота тонкими струйками поднимался туман, в нем плавали березы и кусты. Блеснуло озеро — дивное, сказочное озеро, клубящееся серебряным туманом. Неправдоподобно роскошно над ним склонились неподвижные серебряные ивы, и среди них стояла полуразрушенная халупа — Ольгин дом.

Покроили ситец, поели вареной картошки. Когда Ольга вышла проводить, Галя спросила, почему они не построят новый дом. Ольга

махнула рукой:

— Разве он чегой-нибудь добьется? Другие горлопанят, он молчит. А молчит, ну и ладно. Может, когда-нибудь накопим, так купим... Замаялась я ходить к председателю. Придешь, а он с порога: «Почему это у вас пудовых надоев не видать?» Ты ему слово, а он два. А!..

И она заплакала, заревела грубо и сипло, раскачиваясь, отпихнула Галю, взяла ее за плечи и, как перышко, толкнула прочь.

## БАБА МАРЬЯ

Марья Петровна Осипова, смирная, неприметная старушка, вся в черном, была самой старой среди доярок. Она приходила очень тихо, так что этого никто не замечал, и так же тихо исчезала.

Ольга кричала, шумела, бранилась, а баба Марья никогда слова не говорила. Казалось, что и коровы ее — самые неприметные. Она их выдаивала быстро, ловко, но сдавала молока меньше всех — видимо, недодаивала. Да и не по силам это было ей.

Баба Марья всю жизнь проработала дояркой. Она много могла бы рассказать, если бы не молчала. Но во время всяких бесед или передрыг она отодвигалась в сторонку, старалась найти себе дело, а пуще всего боялась оказаться при перебранке с начальством.

— Чего ты молчишь? — накидывались на нее другие. — Тебе-то хуже всего!

— Бог с ними, — шептала старушка. — Не нашего ума дело.

Как-то Галя мыла с ней бидоны и заговорила о заведующей, что, пока она на ферме, вряд ли будет порядок.

— Что ты, деточка! — горько махнула рукой баба Марья. — И с другой не будет.

— Почему?

— Перевидала я их на своем веку, все одинаковы. Нема порядка, и где ты его возьмешь — лучше не встречай, делай свое дело, да и молчи...

Видно, она так и прошла жизнь, помалкивая, съезжившись. В молодости муж ее зверски бил — плакала, прикладывала примочки и молчала; обсчитывали жулики заведующие — вздыхала и молчала; после смерти мужа брат его оттягал пол-избы и полсада — погоревала и смолчала; у нее была своя «мудрость» и этой «мудрости» она твердо держалась.

Если бы можно было не доить коров, она бы не доила с облегчением. Но молоко нужно было сдавать — и она сдавала. Если бы на нее накричали, что недодаивает, она бы с испугу сдала больше всех. Правда, это портило коров, но мало ли коров портится на свете? Она не была злая, не была добрая; она, как равнодушная усталая лошадь, тянула хомут, который неизвестно зачем, но спокон веков был надет на нее, вздыхала и помалкивала. Кто знает, может, она не всегда была такой. Может, в юности она была веселой девчонкой, пела, озорничала, а потом ее пришибли раз, пришибли другой — она замолчала, да так на этой «мудрости» и поехала.

### **ТЕТУШКА АНЯ**

Анна Ивановна Архипова за словом в карман не лезла. Для своих сорока семи лет она была довольно моложава, улыбчива и приветлива.

На ее плечах лежало большое домашнее хозяйство; и было странно, как она ухитряется все успевать: вставать в три, день-деньской крутиться на ферме, дома у печи, в хлеву — и когда она спит, и почему она такая цветущая?

Старшие ее дети работали, младшие учились, муж-инвалид сторожил утятник и ферму. Изба у тетушки Ани была лучшая в селе — так весело она глядела на мир своими чистыми окнами, такие цветы росли перед ней, такой садик ее окружал. Самая вычищенная посуда на ферме была тети Анина, самые приятные коровки — тети Анины.

Пожалуй, она иначе и не представляла себе жизнь, как крутиться, крутиться, и она ни разу не жаловалась ни на что.

Добрая, деловитая, в голубом халате с белым отложным воротничком, она быстро выдаивала свою группу, быстро убиралась; и вот уже ее воротничок мелькал где-то за плетнями — спешила домой, к другому своему «стаду».

Заведующую она не любила из солидарности со всеми, но еще и потому, что та была лентяйка. Однако вступать в какие бы то ни было конфликты отказывалась:

— И что вы, девоньки, разве с ней справишься? У нее рука — ее Цугрик не выдаст. Не знаю, правда ли, сам Воробьев с ней шуры-муры крутил. А вы удивляетесь, чего это она на нашей шее сидит! Нет, увольте меня. Я свое дело знаю, ко мне никто не придерется, делайте и вы так — вот весь и сказ.

Произошел такой случай. Ребятишки нарезали камышей, связали из них плот и стали плавать по пруду. На середине плот стал разваливаться, и двое малышей стали тонуть.

Доярки услышали крики, заметались на берегу. Тетя Аня, как была в халате, свирепо пошла в воду, решительно по-собачьи поплыла. Ребятишки уцепились за нее; она их вытащила, оттрепала как следует и отправила по домам.

## **СЕСТРЫ РЯХИНЫ**

Они были неразлучны, кругленькие, белокурые и разбитные. Бегали на работу в затрапезных капотах, сбитых тапках, но молодость перла из них, и они были хорошенькие.

Эти первые поддерживали Ольгу против заведующей, кричали много и бестолково, а работа им не нравилась и вообще все на ферме не нравилось.

Старшая, Люся, была поумнее и вдумчивее. Именно она сдавала больше всех молока. Ее мучила совесть.

— Несчастные коровы, — говорила она. — Мы грыземся, а они при чем?

Как-то Галя понесла в коровник скамейку. Люся сидела на перекладине, прислонясь к столбу, и грызла соломинку. Был у нее такой тоскливый, замученный вид, что Галя встревожилась:

— Что с тобой?

— Ничего, устала, — сказала Ряхина и вышла.

В другой раз она злобно сказала:

— Уйду на железную дорогу шпалы таскать или в город на стройку.

Тут пропадешь ни за что. Яма.

— И я уйду, — сказала Валя.

— Нет, останешься, а то огород отымут.

— Тогда и ты оставайся!

— Ну, жребий бросим...

И та же Люся умела всех здорово смешить. Шутки ее были несложные, получались как-то сами собой по любому поводу. Перевернув ведро с молоком, она серьезно говорила:

— Ах ты, батюшки, чуть не разлила!

Похлопав Лимона по спине, спрашивала:

— Лимон, чай, ты дурак? Господи боже мой, пошли мне такого мужа!

Задумчиво дергая из последних сил двенадцатую корову, замечала:  
— Дуракам везет, но чего ж это нам не везет?

Младшая, Валя, напротив, шутить не умела, и была она какая-то пустая, ничем веским не заполненная. Люся все что-то переваривала, задумывалась, а эта жила так, будто кто-то ее завел и пустил скакать, а зачем завел — неизвестно. Впрочем, она сама была устроена так, что эти вопросы ее не касались.

Надо доить — подоила («А, чтоб вы сдохли!»), надо убирать — убрала («Сполосни и мой подойник»), открыт магазин — шмыгнула («Ой, бабы, синие босоножки привезли!»), можно пойти в клуб — побежала («Девочки, гармонист новый будет!»).

Придется ей выйти замуж — выйдет как ни в чем не бывало, детей народит штук шесть, будет их колотить, будет их целовать. Для всего этого таких и заводят ключом и пускают в мир; и они в общем безобидны, только скучны, неинтересны, потому что разговоры у них самые прикладно-конкретные: Зорька сено разбросала, Васька жену побил, Зинка юбку купила, трактористы солидолу не дают.

Сестры были внешне похожи и неразлучны, но с Люсей Галя сдружилась, а с Валею нет.

## **ТАСЯ**

Тасе Чирьевой исполнилось тридцать лет, детей она не имела, а муж появлялся в селе на месяц-другой, чтобы набедокурить и опять исчезнуть: он не вылезал из тюрьмы.

Никакого хозяйства Тася не имела, никакого порядка не признавала. Могла прийти на работу раньше всех, а могла вообще проспять и не явиться. Доила с пятого на десятое и могла совсем забыть подоить какую-нибудь корову.

Наплевать ей с высокой колокольни было на пудовые надои, планы, обязательства, а любила она посплетничать да повеселиться и любила компанию.

Говорят, за компанию цыган утопился; Тася была, вероятно, его родственница. Когда Ольга ругалась, Тася крикливо и тонко ее поддерживала. Когда тетушка Аня торопливо уходила домой, Тася бросала недомытую посуду и шла за ней. Когда сестры Ряхины спешили в клуб на танцы, Тася бежала впереди них.



Ох, и танцевала она, и пела, частушек знала тысячи! Казалось, что живет она на этом свете, как птичка божия, никогда ни о чем не заботясь, хотя, может, это было и не так.

В прошлом году зимой Тасю поймали с ведром комбикорма, который она ночью тащила с фермы, да и раньше за ней водились грешки. Неразгаданной осталась пропажа дешевеньких часов «Звезда», которые Валя Ряхина сняла и повесила на столбик перед дойкой. Люся Ряхина предположила:

— Корова языком слизала.

Когда-то муж выбил Тасе передние зубы. Она вставила себе золотые, ужасно гордилась ими, щеголяла, поминутно улыбаясь без причины. Но золотые зубы как раз ее не украшали, и становилось заметно, как она стареет, дурнеет, хоть и хорохорится. Иногда было жаль ее.

## ЗАВЕДУЮЩАЯ

Среди всего этого общества Софья Васильевна была аристократкой.

В деревне встречается такая особая категория женщин, которых никогда не увидишь в поле, а только в конторе за каким-нибудь замызганным столом. На их не весьма чистых ногтях может оказаться полуоблезший маникюр, голова может быть завита барашком, на ногах могут быть модельные туфли на массивном каблуке, и они причисляют себя к сельской интеллигенции.

Софья Васильевна прошла долгий и сложный путь, чтобы удержаться на плаву в высших сферах. Была она и нерасписанной супругой директора бывшей МТС, и единственным другом жизни главного агронома, и женой прежнего председателя колхоза, и золотой душой общества зоотехников.

Соответственно тому она работала учетчицей, заведующей лабораторией, секретарем, заведующей избой-читальней, а теперь заведующей фермой. Она только не работала в полеводческой бригаде, свинаркой или дояркой — для этого она всегда была больна.

Поскольку тащить с фермы уже было нечего, кроме вазелина, Софья Васильевна и не проявляла к ней интереса. Следовательно, заведующая сама по себе не приносила особого вреда. Но ее ненавидели доярки, которые из-за этого работали скверно. Галя поняла это и вскоре, помня просьбу Волкова, написала ему довольно примечательное письмо:

«В вашей работе есть досадная ошибка, при которой вы никогда не

узнаете подлинного положения дел. Вы приезжаете, ходите, смотрите и говорите с начальством, а вы бы походили без него. (Последнее она подчеркнула жирной чертой.)

Я не хочу высказывать вам свое мнение, с которым вы, может, не посчитаетесь, и тем более мне неприятно было бы информировать вас о чем бы то ни было. Вы приезжайте к нам с утра и посмотрите сами от начала и до конца».

Она показала записку Люсе Ряхиной, Ольге, тетушке Ане, и те одобрили. Правда, тетушка Аня сказала, что все это бесполезно, начальство и само хорошо все знает. Главное — «рука».

Волков приехал в четыре часа утра: наверное, никогда еще не появлялись посторонние на ферме так рано.

Галя билась с «тугосисей» Белоножкой, когда услышала мотор, подумала, что это автоцистерна, но, увидев «Москвич», на длинных ногах, она радостно удивилась, и ей стало страшно.

Доярки побросали работу и сбежались к машине. Волков, помятый, невыспавшийся, но решительный, полез через изгородь в загон. Тут он познакомился с Лимоном, которого в конце концов пришлось выгнать за изгородь.

Обстоятельно, с комментариями Волкову были продемонстрированы солидол, зеленая вода, рваные цедилки, ржавый кипяtilьный куб.

Повели его по коровнику через горы навоза, вдоль пустых кормушек, затем как бы невзначай по самым скользким доскам, но перестарались: Волков спросонья поскользнулся и шлепнулся в коровью лужу. Принялись замывать костюм зеленой водой — только развезли.

Злой как черт Волков велел послать за заведующей и Ивановым.

После дойки никто не пошел домой, а прямо под стеной коровника началось стихийное собрание.



Женщины тихо приснули, когда Волков возмущенно начал:

— Вот у вас скользкие доски проложены. Днем вы доите в коровнике и носите ведра с молоком. Говорят, многие падали, но, к счастью, никто не покалечился. Вон за утятником работает пила, там полно опилок. Нужно только привезти и посыпать пол. Даже не привезти — принести в мешке. Что, вам для этого нужно специальное решение парткома?

— Я им говорил, — сказал Иванов, — и напоминал.

— Я уж устала говорить! — воскликнула заведующая. — Разве они слушают слова? Им же только прийти, отбарабанить — и домой.

— Сама иди потаскай, потруди руки! — не очень убедительно стала защищаться Ольга. — Все вы хороши говорить! А чего это я буду носить? Она с Цугриком прохлаждается, а мы носи? Нема дурных!

— Цугрик здесь ни при чем, — заметил Волков.

Ему никто не возразил, и он заговорил опять:

— Вот вы моете бидоны и всю посуду водой из пруда. А почему не

берете воду из колодца, не кипятите ее?

— Я сигнализировала товарищу Иванову: исправьте печь, — сказала заведующая.

— Когда это вы мне сигнализировали? — рассердился Иванов. — Я сам говорил: кипятите воду! И напоминал!

— Сами себе вы напоминали, — возмутилась заведующая. — Печь мы не можем топить, она дымит, коровы задыхаются.

— Там кирпич в трубу упал, — сказала Ольга. — Залезть да вытащить, так ей же лень ручки марать, ей чтоб кто-нибудь, а самой только к Цугрику бегать!

— Цугрик, говорю вам, ни при чем, — раздраженно сказал Волков. — А вот вы, Ольга, скажите лучше, почему у вас коровы грязные? Вы, видно, разучились скребки брать в руки, отчего это?

— наших коров чистить — это перпетуум-мобиле, — сказала Люся.

— Вы у нее дома поглядите! — завопила Ольга. — Тогда узнаете, как Софья Васильевна чистоту наводит. Потому что ее собственное, туды же ведь Цугрик ходит!

— Прекратите о Цугрике! — завопил Волков. — Я вас по существу спрашиваю! Почему смазываете руки черт знает чем, какой-то дрянью?

— Завтра я вазелин доставлю, — спокойно сказала заведующая. — Признаю критику, это моя недоработка; были перебои, потому что мне некогда было съездить.

— Полгода уже недоработка!

— Она ворует! — воскликнула Ольга. — Она на ем наживается, и молоко ворует, и вазелин ворует, и ведра поворовала, она диваны да шифоньеры покупает, милого своо приваживает. А я не хочу работать, коли так все идет. Она вам «выполним-перевыполним, горим решимостями», а сама воровка и потаскушка со своим Цугриком, вот как!

Тут поднялся невообразимый шум; и напрасно Волков кричал, стучал кулаком: бабы разошлись и перебивали одна другую, заведующая махала рукой, ничего нельзя было понять, даже баба Марья вскидывалась, открывала рот, но, впрочем, молчала.

Наконец страсти немного улеглись. Заведующая застыла с каменным лицом.

— Может, послушаем вас? — нерешительно спросил Волков. — Что вы скажете?

Заведующая встала, оглядела всех презрительно и выложила:

— Чирьева — лентяйка и первая горлопанка потому, что ее поймали в прошлом году с ведром комбикорма. Она мне этого простить не может.

— Сама ты воровка! — презрительно закричала Чирьева.

— Баба Марья злится, что я не даю молока, она неоднократно просила молока для себя, а я не давала. Архипова Анна — бракоделка, потому у нее свое хозяйство, а к государственному душа не лежит, ей лишь хвостом крутнуть да домой. Таких заставишь лишний час переработать, держи карман!

— Ты много лишних переработала? — крикнула Валя Ряхина.

— И вы, Ряхины, туда же. Нет, чтобы проявить трудовой энтузиазм, с комсомольским огоньком, как вас учили. Вы взяли бы пример с новенькой; она, посмотрите, пришла на трудную и незнакомую работу, а старается, потому что она честная комсомолка, она знает: Родине нужно молоко, и наш коллектив должен не склоками заниматься, а неустанно повышать производительность труда, добиваться пудовых надоев от каждой фуражной коровы. Этого требует от нас Родина, этому учит нас партия!

Она с достоинством села. Наступило молчание. Галя посмотрела вокруг: доярки притихли. У Ольги на лице было такое выражение, будто ее ударили обухом. Иванов улыбался. Волков опустил глаза и рассматривал руки.

— Может, пастухи что-нибудь скажут? — спросил он.

— А что? Наше дело малое, гоняем, — неохотно сказал Костя с какой-то насмешкой. — Наше дело пастушье, равно что телячье...

Волков посмотрел на Галю. У нее упало сердце.

— Вас заведующая похвалила. Вы уже работаете полтора месяца и комбикорма, молока, ведер, кажется, не собирались воровать, а чужой личной жизни вам завидовать рано. Может, вы нам что-нибудь скажете?

У Гали пересохло в горле. Она не ожидала, что все обернется так. Она поняла, что Волков недаром вызывает ее: она заварила кашу и пусть держит ответ. Она проглотила слюну и испуганно поднялась.

Если бы у нее был жизненный опыт, она бы моментально сообразила: дело доярок проиграно, почти доказано, что рыльце у всех в пуху, а красно говорить они не умеют в такой мере, в какой это умеет заведующая. Иванов будет только рад, если Галя поддержит заведующую. Волков поморщится, но обрушит свой гнев на доярок, а Галя никаких фактов ему не писала, она просила только приехать и посмотреть. Свергнуть заведующую не удастся, как видно, у нее действительно «рука»; и недаром пастухи смолчали, они видят, что эта каша ничего, кроме вреда, не принесет.

Но Галя еще была молодая и неопытная, она стала говорить то, что думала.

Собрание шло прямо на траве. Люди сидели широким кружком, и

солнце уже припекало им затылки. Рядом о жерди чесались коровы и бродили ягнята. Иванов поймал одного и стал выбирать у него репья.

Галя сказала:

— Но послушайте, дело не в вазелине или в ведре комбикорма. Софья Васильевна говорила обо всех очень нехорошо. Это неверно, наши женщины очень старательные, очень трудолюбивые. Как раз сама Софья Васильевна, мне кажется, — ленивый и равнодушный человек. Когда заведующая относится к делу плохо, то и другие тоже относятся плохо, потому что обидно и вообще... Судите сами: все приходят в половине четвертого утра, а кончают вечером, в одиннадцатом часу. Это трудная, беспорядочная жизнь. Заведующая бывает на ферме только утром, чтобы сдать молоко, вот и вся ее работа. Так разве это не обидно? Зачем тогда заведующая? Молоко мы могли бы сдать и сами...

— Вы такие грамотные, без меня насдаете — в тюрьму сядете! — воскликнула Софья Васильевна.

Поднялся шум. Ольга уже вытерла слезы и полезла на заведующую с кулаками; ее держали и успокаивали.

— Продолжайте, — сказал Волков. — Интересно...

— Мы потому писали вам, просили вас приехать, — сказала Галя, осмелев, — что сами мы бессильны. Вначале мне стало просто страшно: такой грязи в жизни я не видела. Навоз ведь надо убирать, каждый день убирать, и бригадир пусть выделит людей, а про опилки я не думала, но мы принесем. А лучше сразу привезти несколько подвод. Дайте подводу, это какой-нибудь час дела. Мы и погрузим и разгрузим...

— Скажи про подкормку святым духом, — напомнила Люся.

— Днем, в жару, коровы не пасутся из-за оводов, стоят часами на цепи в коровнике, и никакой подкормки нет, надежда вся на выпас. Но ведь это азбука зоотехники — чтобы скоту давали в стойле траву или сено, а здесь голодовка стала азбукой. Никогда никаких пудовых надоев не будет, всем это ясно, но никого это не беспокоит. Лисичка должна была телиться, ее не выгоняли в стадо; она двое суток стояла голодная, потом все-таки выгнали — так ведь и коров и телят можно покалечить. Это позорно! И если товарищ Иванов так занят, что не занимается этим, то Софья Васильевна должна была устроить, и людей послать косить, и лошадей найти...

— Один фотографирует цельными днями, а другая дрыхнет! — зычно крикнула Ольга.

— Как вам не стыдно, — говорила Галя, закусив удила, — как не стыдно употреблять высокие слова, чтобы спекулировать ими? Вы говорите о Родине, обязательствах, долге и партии, но вам ведь наплевать на этот

долг и обязательства. Ведь вы же сами ничего полезного для Родины не делаете! Вы только произносите слова, которые специально выучили, которые для вас — способ пускать пыль в глаза и запугивать: мол, вот я какой идейный человек, попробуй тронь меня! За эти фразы вы прячетесь, как за забор. Ими выставляете себя в глазах начальства, чтобы не потерять теплое место, круглую зарплату, иначе вам придется работать в поле или на заводе у станка, а это не по пашей ленивой душе, вот вы и произносите речи из слов, которые вы оскорбляете и вряд ли в них верите. Вы просто негодный и ненужный работник.

Наверно, от растерянности и страха Галя говорила складно, почти по-книжному.

— Боже, какая змея! Они на меня писали, — с ужасом сказала заведующая, всплеснув руками. — Люди добрые, у нас по четырнадцать литров на корову — это, что же, с неба упало?

— Но это же совсем не благодаря вам, а несмотря на вас, — с досадой сказала Галя. — Просто не все такие ленивые, как вы.

Галя села, и дальнейшее происходило для нее как в тумане.

Шум поднялся невероятный, были вытянуты на свет грехи всех и каждого, нынешние и минувшие. Но чем-то Галя всех подкупила, и речь ее все-таки повернула собрание. Она только слышала, как под конец заведующая истерически выкрикнула:

— Ни минуты не останусь! Меня в «Рассвет» уже год зовут завчитальней. Больше моей ноги тут не будет!

Она вскочила и ушла, провожаемая криками.

Доярки торжествовали. Теперь они не понимали, чего ради они так долго терпели, почему раньше не могли избавиться от нее.

— Придется вам некоторое время пожить без заведующей, — посмеиваясь, сказал Волков.

— Не надо нам совсем, — ответила Ольга. — Пуцай Галка или Люська сдают, сами справимся.

— Посмотрим, посмотрим... — пожал плечом Волков. — С тобой, Иванов, нам придется говорить особо.

Они пошли в контору, и вскоре после этого к коровнику подкатила подвода, доверху груженная опилками.

— Куда тут сваливать? — крикнул возчик.



— Дай-ка руку, — сказал Костя. — Не думал я, что в тебе столько пыли.

Он крепко пожал Галину руку и немного задержал.

— Ну, доярочки, сегодня я вам коров напасу — будут, как бочки. Сегодня праздник.

— Держитесь, девчата, теперь в грязь не ударить! — говорили все.

Ольга объявила, что домой не идет, что в кладовке лежит мешок известки и она побелит коровник. Надоело.

Все были возбуждены. Даже вечно занятая тетушка Аня закатала рукава и принялась мыть окна. Сначала ей пришлось обметать их веником — столько накопилось паутины и сору. Сестры Ряхины метлами очищали потолок и стены. Ольга, вся с ног до головы в брызгах, белила.

Им хотелось доказать, что они были правы, и никому не жаль было труда, и им было так весело, ну, просто все покатывались.

Выскоблили кормушки; Галя полезла на крышу и пробила дымоход. Баба Марья и Тася вычерпали жижу из котла, оттерли его кирпичом, наносили моды из колодца и разожгли огонь.

Все вместе взялись за вилы и грабли и два часа убирали навоз, наворотили его за коровником целую гору и докопались до подлинного пола, а скользкие доски выбросили. Пол посыпали опилками. Мусор вокруг здания сгребли и подожгли. От костров потянул веселый едкий дым, как бывает весной в садах, когда сжигается прошлогодний лист. Может, потому у всех было какое-то весеннее настроение.

Колхозники потянулись на огонек, шли посмотреть, что тут делается, улыбались: разошлись Доярки!

В довершение всего прибыли телеги со свежескошенным овсом. Видно, разговор между Волковым и Ивановым носил сугубо конкретный характер.

Это были счастливые часы. Все носились вперегонки, словно отделявали свою новую квартиру, без усталости и ссор.

Сев передохнуть, Галя изумленно оглядывалась. Что же все-таки случилось? Почему раньше все шло через пень-колоду, если были те же самые люди, с теми же руками? Заведующую не заставили работать, ее только прогнали.

Неужто в самом деле один паразит, сидящий сверху, способен так расстроить, разочаровать целый коллектив и отбить всякую охоту к делу?

Люди с золотыми руками повсюду, люди умеют умно сеять, чисто косить, беречь урожай, любить скот, лелеять землю. Отчего же в одном месте сеют так, что любо-дорого взглянуть, а в другом — ковырнули сверху, будто со зла, и с плеч долой? Отчего одни собрали зерно к зерну, а другие рассыпали его по дорогам, по станциям, под дождями сгноили тысячи центнеров к чертовой матери — и никто не почесался?!

Посмотрите, как любит народ кормилицу корову, какие ласковые имена дает телятам при рождении. Ведь не существует просто коров, а есть непременно Зорьки, Дубравки, Ромашки, Метелицы, Черешни, Красавки, Любимки... А потом, глядь, лежат эти Дубравки и Ромашки, прикованные цепями, голодные, ревут, встать не могут, по шею и навозе, а вокруг ходят те же люди, все те же люди, и делают — лишь бы с плеч долой. Почему?

Или они злые, или стали вдруг лентяями беспросветными, или мстят кому? Да не мстят, не лентяи и не злые! Просто нужно искать ту холеру, которая села им в душу, которая-то и есть самая злая, ленивая и равнодушная, и гнать ее шпалы носить, ломом ворочать, раз не умеет другого дела, кроме как языком пустословить. Вот эта холера — она самая вредная и есть!

Галя устала до изнеможения, но была полна тихой, неуверенной, непрочной радости. Ей еще не верилось, что что-то серьезным образом изменилось. Конечно, она об этом не думала, просто где-то сидела в груди боль. Радовали же простые обыкновенные вещи.

Волков так просто не уехал, а еще долго мотался по селу в сопровождении взопревшего Иванова, приходил в коровник смотреть чудо и кричал, что деловых кадров нет, что какие-то сволочи кончают сельскохозяйственные институты и остаются работать в городе кассиром в магазине.

Галя вспомнила карикатуры на таких людей, но обнаружила, что думает о них без необходимого зла — скорее, с печалью и обидой. «Они искалеченные, — с ужасом подумала она, — их можно понять. Если они прямо из института попадут вот на такую ферму, можно испугаться на всю жизнь! Да, они искалечены». Впрочем, кто виноват, кроме них самих? Осуждать их — это нужно иметь право. Волков имел, она теперь (но не раньше) тоже имела. Она не бежала. Она бы вообще не убежала, все равно боролась бы рано или поздно. Сдаваться, пасовать перед жизненным злом — это значит искалечиться прежде всего самому. Драться за

справедливость и доказывать — это не просто верный путь, это единственно верный путь порядочного человека. Иначе скатишься в яму, в которой от собственного ужаса, может, будешь выть. Впрочем, есть третий путь: молчать. Но это только кажется, что есть такой путь. Третьего не дано. Молчать, сидеть в хате с краю — не выйдет! Немедленно найдутся всякие энергичные паразиты, которые обработают и оседлают в два счета; сначала потихоньку будут тешиться своим превосходством, потом заставят плясать под их идиотскую дудку, а потом уж вообще цинично измываться от души. Бездействие — та же гибель и преступление.

Только драться, только доказывать, только смотреть правде в глаза! Это она поняла наконец. Неважно, пустячный ли, важный ли повод был, но важно, что поняла!

Первые дни Галя думала только одно: «Как бы выстоять!» Она запомнила эти дни на всю жизнь. Это был кошмар: она не успевала выспаться, не отходили руки, пальцы немели. Каждый день трижды по дюжине коров, трижды по десять тысяч сжатий.

Потом наступила глухая усталость с безразличием. Она работала, как машина, как автомат. Никаких посторонних мыслей, своей жизни — только коровник и сон, сон и коровник.

А дальше началось что-то похожее на жизнь тетушки Ани. Галя крутилась с утра до ночи, но уже особенно не уставала, сна ей хватало. Она произвела переворот в хозяйстве Пуговкиной, выскоблила, надраила избу, все перестирала. И наступил день, когда она обнаружила, что дома вроде делать нечего. Тогда она впервые задумалась над фермой.

Когда пригнали стадо на дневную дойку, короны очень удивились. Коровы могут удивляться. Они, не узнав коровника, сбились в воротах и боялись входить. Пришлось загонять силой и разводить по местам.

Они сразу же наляпали навозу на свежие опилки, стали разбрасывать и затаптывать зеленый овес. Это было досадно, и стало ясно, как много теперь прибавилось работы, чтобы поддерживать чистоту.

Не надоеет ли это все? Опять не привезут подкормку, опять нарастет навоз и засорится печь... И Галя поспешно поклялась себе: нет, даже если у всех опустятся руки, она все равно будет держать так, как сегодня! К сожалению, она не знала, что Люся, Ольга, тетушка Аня и даже Тася про себя решили то же.

Дойка прошла гладко, коровы охотно отдавали молоко: они рылись в овсе и не обращали внимания. Доярки просто нахвалиться не могли. До сих пор еще никто не ходил домой, и на радостях они принялись чистить и

скрести коров.

Галя взялась со скребком за Сливу, драла ее, мыла, терла — и вдруг ахнула: какая красавица! Шерсть Сливы была светло-желтая, львиного цвета, лоснящаяся, отливающая медью. Живот — белый, пушистый, хоть заройся в эту нежную, мягкую шерсть и замри... Прекрасной коровой оказалась Слива, и молочной, и доброй, даже какой-то родной будто.

В человеке спрятано удивительно много сил. Силы эти, однако, не так просто открываются, а где-то спят, дремлют; и нужен какой-то особый душевный порыв или трудный переходный период, чтобы силы эти хлынули из всех шлюзов, как молоко из Сливы, — и тогда человек преобразается. Может, преобразается не на день, не на два, а на всю жизнь.

Лентяй привыкает спать по пятнадцать часов в сутки и устает после малой работы. Другой спит шесть, а дел ему все мало. И хотя бы тот ленивый прожил сто лет — так нет же, помрет, сукин сын, на пятом десятке! А люди, подобные тетушке Ане, живут да живут: дела и заботы не отпускают их.

Так, один за жизнь сделает столько, что хватило бы пятерым, а другой едва-едва успевает съесть свои сорок тысяч котлет. Эти самые сукины сыны просыпают жизнь, так и не узнав, не заподозрив даже, какие титанические силы в них вместо бурного огня пшиком пошли. Таким людям жизнь, конечно, очень коротка, короче, чем кому-либо.

Пуговкина, как всегда, была дома и занималась непонятно чем. Каждый день она много топала, много переставляла, копалась, начинала варить, а результатов не было видно. Как с утра в избе было не прибрано, так и к вечеру; как с утра стрекотали голодные куры, так они кричали к вечеру.

— Что, новые порядки заводите? — спросила Пуговкина. — Скоро, говорят, коровам перины стелить будете?

— Перины не перины, а надоело в свинушнике работать, — сказала Галя.

— Уже надоело. Что-то ты дальше запоешь?

— И дальше то же самое, а что?

— Видала я многих, как ты. Брались новые порядки вводить. Ох, сколько тех новых порядков!.. То одно сеять, то другое не сеять; одно меняют, другое ломают, а толку нет!

— Почему нет толку? — возразила Галя. — Вот вы видели много на

своем веку — неужели нет разницы? Как было раньше, как стало теперь...

— И раньше добра не было, и теперь нету, — зло сказала Пуговкина.

— Раньше были темнота и невежество, — сказала Галя.

— Раньше хоть бог был, а теперь и бога нету. И пожалиться некому.

— Как же вы так живете? — озадаченно сказала Галя. Она еще не отошла после сегодняшнего возбужденного утра. — Зачем же тогда жить на свете?

— Не знаю, — сказала Пуговкина. — А ты зачем живешь? Чего ты сюда приехала? Много ты знаешь! Поживи, как я, тогда объяснишь мне, зачем люди живут. Жрать хотят — вот и живут! Вон утки — жрут, жрут, а потом их за крылья да на живодерку... Чего они живут? Жрать хотят — вот и живут!

У Гали вдруг заболела голова. Она чувствовала, что в чем-то Пуговкина права, однако это не та правда, которая самая большая, а какая-то другая правда, недобрая. Но она не могла возразить что-нибудь такое же сильное, как это «жрать хотят — живут!». Она смолчала.

— И правды нету, и добра нету, и справедливости нету! — бормотала Пуговкина, копаясь в горшках. — Хоть бы помереть скорее, пропади оно пропадом!

Галя пожала плечом, ушла к себе в закуток, стала причесываться, но руки ее устали, были тяжелы, и на душе стало тяжело как-то. Она прислушалась, как топает и бормочет Пуговкина, и так и сидела с гребешком в руке.

Впервые она подумала, что жизнь этой женщины, должно быть, ужасна, если она так смотрит на все.

Галя легла на свою кровать, не раздеваясь, закрыла глаза, и перед ней закружилось огромное беличье колесо, в котором по сетке бежала она, бежала Ольга, сестры Ряхины, Тася Чирьева, бежали быстро, изо всех сил, а колесо стояло на месте.

В этом состоянии ей показалась такой чепухой вся сегодняшняя возня в коровнике, все эти опилки, побелки, подкормки. Есть ли опилки или нет, какая разница? Когда нет опилок, колесо стоит, а когда есть опилки, оно начинает бешено вертеться на месте — вот такая разница.

Оно вертится, девушки в нем стареют. В колесо карабкаются маленькие девчушки, дети этих пожилых женщин-доярок. Девчушки держат хвосты, им интересно, для них колесо полно неизъяснимой прелести и таинственности, они пробуют доить коров, а старые женщины стонут жутко, неправдоподобно: «Робенки мои...»

Этот животный стон повторился много раз, как показалось Гале. Она проснулась, села на кровати, обхватив тяжелую голову руками. Она не спала и пяти минут. А Пуговкина плакала за фанерной перегородкой, сморкалась. Во дворе стрекотали куры. Солнце стояло высоко, и было невыносимо душно.

«Что со мною? Что я, с ума схожу?» — думала Галя, спускаясь по тропинке, ее словно била лихорадка, руки не находили места, хотелось заламывать их; хотелось с кем-нибудь поговорить, умным и спокойным.

Она спешила к коровнику почти со злостью и отчаянием; она была уверена, что коровы затоптали подкормку, а Слива вывалялась в навозе.

Слива не вывалялась в навозе, стояла, пережевывала жвачку, и шерсть ее отливала медью.

Галя зашла со стороны кормушек, взяла Сливу за морду и заглянула в глаза. Корова не противилась, только глаза ее выпучились, стали видны белки с красными жилками. Зрачок у нее, как у всех коров, был в форме маленького прямоугольника. Этот прямоугольник был подернут лиловой дымкой; казалось, Слива прячется за этой дымкой, и только изредка в глазах ее мелькало что-то осмысленное.

— Слива, королева ты моя... — сказала Галя.

Корова насторожила уши, протянула морду и дружелюбно фукнула. Нос у нее был широкий, черный, холодный.

Галя пошла по ряду своих коров, трогая их за рога, заглядывая с какой-то надеждой в глаза; все глаза были подернуты лиловыми дымками, от этого ее тоскливое одиночество еще усилилось.

Она чуть не вскрикнула от радости, когда раздались голоса. Жара спадала, и пастухи пришли выгонять. Она стала говорить с ними о самых пустячных пустяках, лишь бы задавать осмысленные вопросы и получать осмысленные ответы.

— По правилам, это вы должны отвязывать коров, — говорил Костя ворчливо. — А мое дело получить стадо и сдать. Да что с вами делать...

«Говори, говори!» Она решила, что теперь будет каждый день помогать ему выпускать стадо, потому что это самый хороший момент на дню.

Петька протяжно кричал, направляя стадо на дорогу. Мелькнула торпедоподобная спина Лимона, и вокруг него произошла какая-то свалка.

— Можно, я пойду с вами? — спросила Галя.

— Зачем? — удивился Костя.

— Помогу.

— Сами справимся.

— Ну, возьмите!..

— А мне что? — пожал плечами Костя. — Иди себе.

И у нее ноги подкосились от счастья. Она поняла, что весь день ждала именно этого — чтобы пойти в поле со стадом, чтобы бегать вокруг, махать палкой и кричать, а потом лечь в траву, вспомнить о небе и посмотреть в него.

Двигать стадо быстро и собранно — это был стиль Кости и один из его секретов. Он давал коровам добрую разминку, держал их, как говорится, в форме, после чего они жадно накидывались на еду. И чем быстрее добирались до пастбища, тем больше времени было на эту еду.

Плохой пастух гонит — стадо плетется, коровы забредают в огороды, останавливаются, мычат. У Кости вся единая масса шла быстрым шагом, и сам он вышагивал широко, красиво, с рваным дождевиком через плечо, постреливая бичом. А Петька с устрашающими воплями шнырял вокруг стада, как борзой щенок. Галя трусила рысцой сзади, не поспевая за ними.

Кончилось село, потянулись картофельные поля, скошенные луга. Долина ручья была роскошная, поросшая камышами и осокой, местами в ней образовались небольшие, но глубокие ямы — бочаги с таинственной темной водой, по поверхности которой шныряли серебряные плавунцы. Стадо пошло по траве, перестало пылить, и навстречу хлынул лесной пьянящий воздух.

С краю лес был редкий, березы вперемежку с осинами стояли просторно, в одиночку и кучками, солнце свободно светило сквозь них, перебирая стволы, и все это было такое славное, доброе, спокойное.

Стадо рассыпалось между березами, жадно щипля траву. Костя швырнул на папоротники свой дырявый плащ, расправил его барским жестом и вытянулся во всю длину. Петька последний раз похлопал бичом, и стало тихо-тихо, только дышали коровы.

Галя потянула к себе Костин кнут.

Это была сложная штука метров двенадцати длиной. Рукоятка — с добрую скалку. К ней намертво обручами, шурупами и проволокой крепилась вырезанная из автопокрышки полоса — чем дальше, тем тоньше. Она наращивалась крепко пришитым к ней приводным ремнем от какого-то мотора. Затем следовали резиновые жгуты неизвестного происхождения; к последнему из них был пришит двухметровый сыромятный ремешок, а последний метр этого уникального кнута был сплетен из черного конского волоса с узелком и красной кисточкой на конце.



Вот чтобы, не сходя с места, за двенадцать метров достать коровьи ляжки этим узелком, и было создано это чудо.

У подпaska тоже имелся кнут, но, соответственно его рангу, не превышал восьми метров.

Когда Галя подняла кнут и размахнулась, ничего у нее не вышло, только запуталась. Пастухи с удовольствием смотрели на ее упражнения, потом Петька бросился учить.

Он взмахивал, и длинный бич, все эти резиновые полосы, жгуты, ремни кольцом катились от него и выкладывались в траве прямой дорожкой. Развернув таким образом кнут, он делал новый взмах, вся цепь ремней возносилась в воздух, проносилась со свистом вперед, а в последний момент Петька делал незаметное движение на себя, и раздавался такой оглушительный выстрел, что звенело в ушах, а с земли взлетали рассеченные травинки и сухие листья.

Научиться стрелять таким бичом, наверное, было необыкновенным счастьем. Галя научилась раскладывать его, потом взмахнула — и тут произошло неожиданное. Вместо того чтобы просвистеть вперед, кнут всей силой обрушился на нее. Она почувствовала дикую, обжигающую боль и упала, много раз обвитая кнутом. Петька повалился от хохота: видимо, ему это и требовалось доказать.

Галя рассердилась, у нее выступили от боли слезы. Она упрямо развернула кнут. На этот раз ей почти удалось отскочить от свистящей змеи, но последний хвостик из конского волоса, как ножиком, хлестнул ее по ногам.

Петька катался, а Костя с интересом наблюдал. Галя вытерла пот со лба.

— Дурак, — сказала она Петьке.

— Руку отводи вот так, — посоветовал Костя.

Сжав зубы, Галя сделала кольца и снова послала вперед. На этот раз кнут миновал ее, но выстрела не получилось. Она повторила еще раз, дернула к себе — и прозвучал жиденький хлопок.

— Ого! — сказал Костя с уважением. — Для первого раза — сила! Рукой под конец делают так...

Он подошел к ней, пристроился сзади и показал, держа ее руку в своей. Он размахнулся ее рукой, как-то ловко тронул, всего лишь тронул на себя, и эти свистящие кольца произвели непостижимую перестройку — и грохнул выстрел.

Галя ощутила своей спиной широкую и твердую, как каменная глыба,

грудь Кости.

— Хватит, — ласково сказал он. — Ты и так сама себя высекла.

Только теперь она почувствовала, как ей по-настоящему больно. Даже нельзя было определить, где сильнее болит. Она была вся жестоко исполосована; и ей стало так смешно, так смешно, она просто готова была повалиться в траву, как этот дурачок Петька, и хохотать от боли и счастья.

— Значит, мать копает картошку? — спросил Костя у Петьки.

— Ага.

— Одна?

— Ага.

— Ну, дуй, помогай, черт с тобой! Галка побудет покуда — вишь, сама напросилась. Только смотри, чтоб Иванов не засек, а заметит, не ври, а прямо говори: «Костя отпустил». Понял?

— Ага.

— Заверни напоследок Лимона, в клевер пошел.

И тут Галя очнулась. Она увидела, что находится в лесу, что исхлестана кнутом, а Петька уходит.

Она закрыла глаза и подумала: «Это хорошо. Пусть поскорее уходит!»

Солнце было уже низко, и тени становились длиннее. Коровы помахивали хвостами и щипали, щипали торопливо, не имея времени мотнуть головой. Костя озабоченно достал карманные часы.

— Ладно, дам еще часок, а клеверу на закуску. Видишь, клевер рядом, а никто не лезет, кроме Лимона-балбеса. Уже знают свое время. — Он покосился на Галю и слишком деловито добавил: — На клевере держи их по минутам, с часами в руке, не то беда.

— Какая? — спросила Галя и не узнала своего звонкого голоса.

— Едят, пока раздуются, как бочки, тогда падают и подышают. Однажды у меня было, одна удрала на клеверище. Списали.

Он сел на плащ и жестом пригласил Галю. Она спросила:

— Правда, ты был комбайнером?

— Правда, — сказал он. — И трактористом — тоже правда.

— Почему ты пастух?

— Мне в самом деле нравится, — улыбнулся он.

— Почему?

— Почему да почему, — добродушно сказал он. — Очень хорошая работа, спокойная, здоровая, и я сам себе хозяин. Ленивый я. Вот почему.

— А не стыдно?

— С каких пор это стыдно? Пастух — это, брат, на селе почетное дело! Знаешь ты, сколько надо знать пастуху: все травы, и все повадки, и часы — и все иначе в разное время года. Тебяпусти — ты загубишь стадо в два дня. Они же не дикие, они забыли все на свете, жрут что попадя, без меры. Хороший пастух — это все, это и молоко ваше и мясо. А я хороший пастух.

Подул ветер, прошелся по вершинам, и вершины зашумели, заговорили, листья на осинах затрепетали, и скрипнуло старое дерево. Коровы паслись — только шорох стоял. Они понемногу углублялись в лес, передних уже не видно было. Костя и Галя подняли плащ и перенесли его на другое место, поближе.

— Зачем ты живешь? — спросила Галя.

— Нравится, — засмеялся он. — Я же говорю, что нравится. Вот живу — и все. И не понимаю вас, чего вам надо? Мне бы, если бы поесть было, так ничего и не надо. Спать люблю, вот так сидеть люблю, любить люблю.

— Любить?

— А что? Вот придешь ты — любить буду. Многие приходили.

— А что-нибудь другое, огромное...

— Что?

Она хотела возразить, что человеку нужен весь земной шар, как она учила в школе, что жить надо ради больших целей, но почему-то у нее не находилось слов, она запуталась в мыслях и вспомнила беличье колесо.

Она подумала: «Не все ли равно, кто как живет и что ему нравится! Может, как раз это и есть оно, огромное: вольно дышать, думать, любить все это, быть здоровым, не усталым, с миром в душе и хорошим настроением, среди природы — частицей ее, а не гробиться в грохоте на тракторе или крутиться в колесе? Костю не тянет в большой мир, для него мир всюду велик. Ему нравится просто жить. А мы зачем-то мечемся, убиваемся на ферме, вскакиваем в три часа утра. Но он счастливее нас?»

— А ноги ты себе отхлестала, — сказал Костя и провел рукой по красным вздувшимся полосам на ее ногах. — Ноги у тебя красивые.

Она спрятала ноги под юбку. Костя усмехнулся.

Она подумала:

«Господи, какой он красивый, какой спокойный! Как этот лес. Наверное, те девушки, что приходили к нему, ныряли в этот лес с головой и не находили дороги обратно Счастливые, наверное, им было спокойно, хорошо».

— И лицо расхлестала, — сказал Костя, разглядывая ее. — Теперь все

узнают, что ты у меня была.

Она подумала: «Ну и пусть! Что в этом такого?»

Он положил ей руку на плечо. Она не удивилась, не отодвинулась.

Неподалеку белела странная береза. Там было какое-то болотце, ключ, наверное, вода подточила березу или ветер свалил — дерево упало в воду, упало давно, когда-то, но продолжало расти, изогнувшись кверху. Половиной ствола оно лежало на воде, а половиной выгибалось к небу, изящно отражаясь в воде.

Галя глядела на эту березу и думала, что даже в уродстве своем природа красива.

Костя обнял ее — спокойно, ласково, легонько привлек к себе. Она не сопротивлялась, прижалась затылком к его плечу, и стало ей тепло и уютно, хорошо и бездумно, — так они сидели довольно долго, а стадо опять ушло и почти скрылось в чаще.

Они опять встали, перенесли плащ к самой березе. Костя пошел заворачивать коров, слышался его голос, несколько раз выстрелил бич.

Галя стояла и ждала одного: чтобы то повторилось, чтобы он сел, а она прижалась затылком к его плечу.

Она услышала, как Костя хлестко лупит кого-то и грубо ругнулся. Лимон вылетел из кустов, как снаряд, сослепу кинулся в другие кусты, только треск пошел по лесу.

Костя пришел смеясь.

Она зажмурилась, а Костя схватил ее радостно и сжал так сильно, что хрустнули кости. Она стала вырываться, но это было все равно, что вырываться из тисков. Он поднял ее и понес к плащу.

Галя отбивалась руками, била его по лицу, извивалась, а он посмеивался и даже не прятал лицо — для него это были комариные укусы. И тогда, разъяренная, она вцепилась зубами в его щеку и укусила так, что он отпустил ее, сел и удивился:

— Вот бешеная! Не я, так другой...

Не помня себя, она вскочила и побежала, как никогда в жизни не бегала. Ей казалось, что он гонится по пятам, она ныряла под ветки, прыгала через ямы, некогда было оглянуться. Она выбежала на край леса, с перепугу повернула не в ту сторону и отмахала добрый километр, пока сообразила, что бежит не туда. Тогда она пошла в поле и вернулась полем, дрожа и поминутно оглядываясь.

Показались серые избы села, донесся шум утятника, и это показалось ей родным и спасительным. Она вытерла лицо, как могла, пригладила

волосы и вошла в село совершенно успокоенная, как в родной дом.

И тут она удивленно осмотрелась. Теперь она ничего, ровно ничего не понимала: ни почему ее весь день так колотило, ни зачем она пошла с пастухами и сидела, прижавшись затылком к Костиному плечу, ни тем более того, что так по-дикарски удрала и летела сломя голову, хотя за ней никто не гнался.

Перед вечерней дойкой приехал председатель Воробьев и привез писателя.

Они прибыли на красном «Москвиче», и председатель повел писателя по селу, показывая утятник, пилораму и коровник, который особенно рекомендовал посмотреть.

Они ходили серединами улиц, заложив руки за спины, вразвалку. Оба были в светлых просторных штанах и светлых рубашках, оба приземистые и широкие.

По селу разнесся слух, что Воробьев привез очень большое начальство, и бабы бросились загонять по дворам поросят.

Писатель был дородный и холеный, с артистической шевелюрой, колечки которой вились у него на затылке. Когда-то он написал неплохую книжку, ее давно забыли, но он не подозревал об этом, потому что в издательствах считали своим долгом помнить название этой книжки.

Затем он написал много плохих книжек, но у него уже было имя, и писания его проходили без сучка и задоринки.

Живя безвыездно в столице, он считался знатоком сельского хозяйства, так как первая книжка была о колхозе. Поэтому время от времени он делал краткие набегі на тот или другой колхоз, но в основном был знаком с сельским хозяйством только по газетным статьям.

Воробьеву в жизни не приходилось иметь дела с писателями. На всякий случай он обкормил его жутким обедом с крепленным вином, бросил дела и отправился сопровождать, против чего писатель не протестовал.

Приведя писателя на ферму, Воробьев рассказал ему, как здесь раньше было плохо и как теперь стало хорошо.

Однако и в новом своем виде коровник не понравился писателю, он посмотрел в дверь и дальше не пошел. Доярки бегали мимо, с любопытством поглядывая, а писатель достал блокнот и занялся сбором жизненного материала.

— У них была плохая заведующая, — объяснил Воробьев. — Но наш парторг провел собрание, и заведующую сняли. Они сами обходятся, без заведующей.

Писатель пожевал губами. Он сомневался, стоит ли это записывать, — факт был сырой, малоинтересный.

— Кто трудится лучше всех? — задал он испытанный вопрос.

Председатель не знал. Пришлось послать за Ивановым.

— Как сказать... — ответил Иванов. — Все стараются, работают в общем и целом.

Писатель занервничал. Он надеялся написать по крайней мере очерк для журнала, и имена были обязательны. Иванов подумал: была не была, наверно, Галя теперь на хорошем счету у Волкова и назвать ее не будет ошибкой!

— Девушка старательная, активная, приехала по комсомольской путевке обкома, — сказал он, мучительно придумывая, — приехала из города в деревню.

— Ага! Это хорошо! — воскликнул писатель; это уже шло в очерк. — Я бы хотел с ней побеседовать.

Пришлось Гале идти в контору, где все вчетвером сели за стол, и писатель начал допрос.

— Какие обязательства вы взяли в этом году?

Воробьев с Ивановым переглянулись.

— У нас еще нет, это наша недоработка, — сказал Иванов, а председатель показал ему под столом кулак.

— Обязательства должны быть у всех, — изумленно сказал писатель. — Как же вы тогда работаете? Вот в «Рассвете» доярки обязались надоить по четыре тысячи килограммов от каждой фуражной коровы, а некоторые даже четыре с половиной. Вы потянули бы столько?

— Я не с начала года работаю, — пробормотала Галя.

— Но у вашей предшественницы были обязательства?

— Не знаю...

— Это наша недоработка! — поспешил на выручку председатель. — Это мы завтра же провернем. Можно смело писать, что обязательства будут, потому что фактически так и есть. Бери, Галя, смело четыре с половиной тысячи, коровки у нас хорошие... Идет?

Галя смущенно кивнула головой. Она пока не представляла себе этой цифры, но писатель уже удовлетворенно записал: «Берется за достижение 4,5 тыс. кг в год».

— А сколько вы надаиваете от коровы ежедневно? — спросил он.

— Как когда, — сказала Галя. — Сегодня было хорошо, дали подкормку. А когда коровы голодные стоят, тогда и десяти литров не возьмешь.

— У коровы молоко на языке! — весело сказал Иванов, беспокоясь,

как бы Галя не наплела лишнего. — Так еще наши деды утверждали. Народная мудрость, так сказать.

Воробьев облегченно кивнул, а писатель подумал, что, хотя поговорка очень уж затаскана, можно рискнуть употребить ее в последний раз, и записал.

— Но все-таки, сколько вы надоили, к примеру, сегодня?

— Двести десять литров.

Писатель застрочил: «210 литров, это же более двух центнеров! И все это выдоили ее маленькие руки, которые вливают в широкую молочную реку...» Он почувствовал, что заврался, и решил насчет молочной реки додумать дома.

— По сколько это на корову?

— В общем по восемнадцать литров! — быстро подсчитал Иванов.

Писатель писал, не задумываясь: «По 18 литров от каждой закрепленной за ней фуражной коровы надаивает ежедневно эта маленькая, загорелая, веселая девушка с озорными глазами. Рассказывая об этом, она заразительно смеется». Посмотрев на Галю, он почувствовал легкий укол совести, но у него уже был создан образ доярки, и он не мог его менять.

— Вчера было сто пятьдесят литров, — смущенно сказала Галя, потому что ей стало неловко: сегодняшней день был исключительным.

Писатель пожевал губами, начертал в блокноте птичку, но не записал.

— Отлично, отлично, — сказал он, потирая руки. — Вот мы и поработали. Сейчас отметьте мне командировку и доставьте на вокзал, но прежде я бы хотел поговорить и с вами немного, дорогой председатель. Мы вот беседовали с народом, вы мне все показывали, а вот о вас-то самом я и не знаю, что писать.

— Что там писать, — смутился Воробьев, и шея его покраснела. — Люди — вот они главное. А мы что — бегаем, ругаемся. Так, Иванов?

— Конечно! — подтвердил Иванов, показывая все свои зубы. — Но не скажите, Алексей Дмитрич, председатель вы у нас хороший. Вот и товарищ писатель, он сам может судить...

Писатель поспешно записывал все; он только на ходу заменил слово «ругаемся» на «беспокоимся». И председатель и бригадир ему очень понравились: простые, бесхитростные люди из народа. Он вдруг почувствовал, что достигает вершины в своем сборе материала, и он задал вопрос, который неизвестно как пришел ему на ум, по вдохновению, наверное:

— А что вас держит в жизни, какие стимулы? Ведь, по существу, вы



живете в глуши, света, так сказать, не видите... Поймите меня. Я приведу себя. У нас, писателей, например, ясные стимулы: здесь, так сказать, и материальные стимулы и известность — слава, так сказать. Не всех она постигает, но все солдаты мечтают быть генералами, ха-ха! А что стимулирует вас? Ведь если разобраться, работа у вас малоинтересная, скучная...

Воробьев, который было очень насторожился, наконец, понял, что от него требуется, и радостно ответил:

— Нет, работа наша интересная! Для того, кто любит сельское хозяйство, здесь все увлекательно. Сельское хозяйство — это что? Это, так сказать, залог нашего продвижения к коммунизму. Это обилие продуктов в стране — раз! Это сырье для промышленности — два! Это в конце концов школа народного опыта — три! И мы полны решимости...

Он испугался, не загнул ли насчет школы народного опыта, но писатель строчил в упоении.

— Насчет стимулов! — напомнил он, не поднимая головы.

— И стимулы у нас есть, — неуверенно ответил Воробьев, лихорадочно соображая: «Какие ему еще к черту стимулы? Кажись, все сказал, как следует...»

— Сколько вы, например, зарабатываете?

— А! — понял, наконец, Воробьев. — Зарботки наши зависят от благосостояния колхоза. Богатый колхоз — полновесный трудодень. И так, знаете, боремся за увеличение колхозных богатств, за повышение материального и культурного благосостояния... — Он устал говорить и, вытерев платком лоб, вдруг съехал: — А вообще, знаете, морочливая работа председателем, ну его к лешему!

— Однако по душе? — подсказал писатель.

— Можно сказать, по душе. И так втягивает — бывает, ночью лежишь, все соображаешь, калькулируешь, как то, как другое, там, понимаете, загородку достроить надо, там удобрения пришли — значит, транспорт выделяй, там в столярке гроб делать — старик, понимаете, помер. И так одно к одному каждый день тебе, да еще эти совещания... — Он махнул рукой.

Все это было не очень выразительно, писатель не стал записывать. Но, почуяв интимные нотки, он бабахнул самый что ни на есть интимный вопрос:

— А что, если бы вас спросили, хотели бы вы сменить вашу жизнь председателя на что-нибудь иное?

— Нет, не хотел бы, — не моргнув, отвечал председатель.

И писатель закончил: «И ни на что другое он не променяет свою трудную, но прекрасную судьбу».

Это была его коронная фраза. Кого бы он ни спрашивал — сталеваров и забойщиков, доярок и рыболовецких бригадиров, комбайнеров и милиционеров, — никто не соглашался менять свою трудную, но прекрасную судьбу.

— Благодарю вас, — сказал он, очень довольный.

Фактов у него накопилось вполне достаточно, и он мог теперь два месяца спокойно работать в Доме творчества Литфонда и, выбирая за столом меню завтрашнего дня, рассказывать другим писателям: «Да, а вот я был в области \*\*\*, там, вы знаете, я нашел удивительного председателя! У него, поверьте, птицеферма — это что-то фантастическое, от уток стонет земля, они не знают уже, куда их девать. На молочной ферме у него работают девчонки со средним образованием, надаивают по восемнадцать литров от коровы — это, представьте себе, она сдает за день более двух центнеров молока. А мы сидим и пишем бог весть о чем, выискиваем всякие психологические проблемы, тогда как люди работают без всяких этих психологических проблем — и творят чудеса! Я провел в этом колхозе незабываемые дни, я побыл среди героев наших дней, которые сами просятся в книгу!»

Он повторит эти слова в очерке, статье, на собрании секции прозы, на заседании правления союза, в личных беседах с молодыми начинающими — и, может случиться, у всех создастся впечатление, что он идущий в ногу со временем, активно творящий писатель, и главное — он сам поверит в это.

Его помянут в отчетном докладе прежде, чем «и др.», и, может, даже дадут бесплатную путевку в Дом творчества. И уж там-то он напишет эту книгу, в которую сами просятся герои, она без сучка и задоринки пройдет издательские конвейеры, ее в обтекаемых выражениях похвалят толстые журналы.

— Мне можно идти? — спросила Галя, клонув носом.

— Да! — вспомнил о ней писатель, отрываясь от своих мечтаний. — Идите, девочка, отдыхайте. Вы рассказали очень интересные вещи.

— Теперь перекусим, чем бог послал, — сказал Воробьев.

— Перекусить можно, — согласился писатель. — Только без этого самого...

— Ни-ни, чуточку только! — воскликнул Воробьев, страшно довольный, что пытка кончилась. — Мы ведь по-простому, по-деревенскому.

— А мы тебя ищем-ищем! — сказала Ольга. — Все бабы собрались, тебя лишь нет.

— Где собрались?

— У тетки Ани, гулять будем — праздновать, что ту выдру вытурили! Что же нам, и попраздновать нельзя?

В просторной избе тетушки Ани было уже полно народу. Были все доярки, оба пастуха, Людмила с утятника и ее «муж», которого пригласили за гармошку. Этот мужичок уже здорово наклюкался, но исправно перебирал кнопки. Впрочем, выводил он все одно и то же, под частушки: «Та-ра, ту-ру». Он был круглый, полный и добродушный.

Иванов в качестве почетного гостя сидел в красном углу, весь красненький, «тепленький», с аппаратом через плечо, и ковырялся вилкой в консервах.

Галин приход был встречен бурей восторга, и ее заставили пить штрафную. На столе стояли разные бутылки: с водкой, брагой, вермутом и графин лимонада. Галя не выносила водки, а брагу ей не позволяли пить.

— Ну, этого выпей! — сказала Ольга, берясь за лимонад.

Галл обрадованно кивнула. Когда она хлебнула этого лимонаду, у нее пошли круги перед глазами, она задохнулась и не могла ни кашлянуть, ни закричать — казалось, конец ей пришел. А все захохотали, захлопали в ладоши.

— Это самогон, глупенькая, — жалостливо сказала тетушка Аня. — Хлебни водички — пройдет. Чего взбесились, глупые? Так человека убить можно.

Галя отдышалась. Ей налили водки и заставили выпить. После самогона водка показалась ей нестрашной, и она выпила, потому что иначе нельзя было.

Она накинулась на бычки в томате, и когда съела полбанки, ей стало хорошо, а люди вокруг показались милыми и забавными.

Тетушка Аня тихо шмыгала и, как хозяйка, все подавала, угощала. Изба ее была забита всяким хламом: сундуками, скамьями, картинками, фотографиями, бумажными цветами, вышитыми полотенцами.

Все вместе это походило на какую-то до предела забитую экспозицию этнографического музея, но должно было, очевидно, свидетельствовать об

уюте и удобстве жизни. Когда Галя поднимала глаза, у нее рябило от пестроты.

Тася Чирьева блеснула золотыми зубами, вышла на свободный «пяточок» посреди избы и начала плясать. Она плясала почти на месте, несложно перебирая ногами, и вытаскивала за руку то одну, то другую доярку, но те отнекивались и не шли.

Наконец Ольга гикнула, швырнула платок и пошла. Они работали ногами старательно, серьезно и безразлично глядя друг на друга, а Тася Чирьева вдруг взвизгнула и запела пронзительным гортанным голосом так, что казалось, у нее полопаются связки:

Ах, милка моя,  
Чем ты недовольна?  
Хлеб на полочке лежит,  
Не ходи голодна!

Всем это показалось очень остроумным, все за хохотали, и Галя тоже.

Иванов вытащил аппарат и пытался снять пляшущих, хотя лампочка горела слабо и в избе было полутемно.

Тася с каким-то ухарством, с вызовом прошлась, задевая сидящих мужчин:

Меня милый не целует,  
Опасается поста.  
А любовь без поцелуя,  
Что собака без хвоста. И-их!..

Ольга немедленно ответила:

Вот каки у нас ребята,  
Что собаки вякают:  
Целоваться не умеют,  
Только обслюнякают.

Гармонист раскрыл пасть и заревел глупо и пьяно:

Девочки, такая мода —

Поясочки лаковы.  
Девочки, не зазнавайтесь,  
Все вы одинаковы.

И так это началось. Ольга и Тася вспотели, с гармониста тоже пот лился градом, но никто не останавливался, и все они были с серьезными лицами, и это длилось бесконечно долго.



За это время кто-то успел налить Гале еще две рюмки. Она их выпила легко, почти не заметив, только потом опять набросилась на бычки в томате и подскребла банку дочиста.

— Что ж ты убежала? — спросил Костя грустно. — Чего ж драться-то? Сказала бы — ну, и все.

Галя посмотрела на него, и он вдруг показался ей таким добрым, ласковым, славным; ей страшно захотелось его поцеловать по-братски; она

даже испугалась, хотя и была пьяна. Костя взял ее руку и рассматривал красные полосы от кнута.

— Болит?

— Нет.

— Если тебе нравится, приходи в лес, я тебя не трону, — сказал он. — Я тебя не понял.

Она чуть не заплакала от благодарности — за то, что он так хорошо сказал, что он такой добрый и спокойный, как сам лес. Она сказала:

— Я буду иногда приходить.

Гармонист посмотрел на них, сделал глупое лицо и заорал:

Полюбил я ту Татьяну  
Не то сдуру, не то спьяну!

Костя добродушно ухмыльнулся, махнул рукой. Галя тоже смеялась. Ей было хорошо. Танцующие, наконец, повалились, и гармошка умолкла. Гармонисту поднесли стакан водки.

Баба Марья, которая, сложив руки на груди, сидела тихо, как мышь, вдруг протяжно запела приятным печальным голосом, сильно окая:

Огни горят, костры пылают,  
В вагонах все спокойно спят,  
А паровоз там мчится тихо,  
Колеса медленно стучат.  
Один солдатик, всех моложе,  
Шинель на грудь его легла, —  
Ах, мать, зачем меня родила,  
Зачем в солдаты отдала?

Она всхлипнула и зарыдала, и все бабы принялись ее успокаивать. Но она плакала, и все были пьяны — на столе в графине почти ничего не осталось, а бутылки из-под водки давно валялись на подоконниках.

Иванов, хитро улыбаясь, потянул к себе творог в тарелке и сказал:

— Вороне где-то бог послал по благу сыру...

И Гале это показалось таким смешным, ну, смешнее всего на свете. Она громко, неприлично расхохоталась, но никто и не вздумал обратить на нее внимание.

Тася опять пошла стучать каблуками, выкрикивая: «Раздайся, народ, меня пляска берет!» И все говорили, что-то доказывая, проклинали бывшую заведующую, костили Иванова, тут же оборачиваясь к нему и похлопывая по плечу:

— Ты не обижайся, Иваныч, мы ведь по-свойски.

Он не обижался, кивал головой и тихо съел всю тарелку творогу.

— Люблю творог! — доверительно сказал он Гале. — Эт-то еда! А тебя замуж отдадим, дай срок, гулять будем, пить будем. Правильно я говорю?

— Правильно! — подтвердила Галя.

Люся Ряхина сказала:

— Боже, до чего я пьяная, в Иванова влюбилась, тьфу!

Пошла в сени, забрала сестру и ушла. А Иванов упал головой на стол и захрапел. Подпасок Петька мирно спал на кровати.

Костя один казался не пьяным, распорядился и наводил порядок, и за это Галя полюбила его еще больше.

— Ольгу надо домой довести, — доверительно сказал он Гале. — Эти доберутся, а ей далеко. Я пойду.

— Я тоже! — сказала Галя.

— Как хочешь. Тогда я и тебя отведу.

Он поднял Ольгу со стула, поставил перед собой и сказал:

— Домой, девица! Твой там уж заждался.

Я любила тебя, гад, —

гаркнула Ольга, —

Четыре годика подряд.

А ты меня два месяца —

И то хотел повеситься.

— С вами повесишься, — сказал Костя добродушно. — А ну, пошли, ножками, ножками!

Они вышли на улицу. Навстречу шли в темноте двое каких-то мужиков.

— Доярки гуляют! — сказал один с завистью.

— Это они умеют, — сказал другой. — Бабы здоровые...

Полюбила тебя-а,  
Черта неумытого!  
Надоело покупать  
Мыло духовит-тае! —

орала Ольга, раскачиваясь вовсю и толкая Галю и Костю, поддерживавших ее с боков.

Костя посмеивался, и Гале было весело. Земля была мягкая и покачивалась под ногами. Чем дальше, тем она качалась все сильнее, и свежий воздух не помогал, а, наоборот, только больше опьянял. И вдруг у Гали что-то щелкнуло в голове, и она стала плохо слышать, и вообще весь мир как будто закрыла пелена. Она откуда-то издала увидела себя, Ольгу, Костю, но временами забывалась и только усилием воли опять возвращалась и видела. Она понимала, что очень пьяна, что нужно держаться, шагать, но ноги несли куда хотели, и ей уже не было смешно, а только дурно, тяжело, плохо. Она вдруг вспомнила этот страшный графин на столе, и ее затошнило от одного воспоминания. Ее так затошнило, что она не могла ступить шагу.

Но потом все прошло, она успокоилась и сказала:  
— Ну, пошли, что ли.

Ольга сидела на дороге, раскачиваясь и напевая что-то похожее на молитву. Костя подхватил ее, как куль с овсом, и они опять потащились куда-то.

Был лес, была картошка, было фантастическое озеро со склоненными ивами, и в крохотном оконце светился огонек. Галя была в восхищении от Кости: что он такой умный, такой трезвый, нашел дорогу. Они сдали Ольгу на руки ее мужу, который не удивился, не рассердился, поговорил с Костей о каких-то покрывах, которые ему обещали достать.

У меня залеток два,  
Они оба лопухи.  
Одного склевали куры,  
А другого — петухи, —

сказала Ольга.

— Ладно, — добродушно сказал Костя, — с тебя пол-литра за



доставку.

Ольга выругалась.

— Смотри ты! — удивился Костя. — Способная еще!

Они с Галей пошли обратно. На болоте он взял ее на руки и перенес. У него была колючая щетина на щеке. Ей захотелось, чтобы он стал ее мужем, чтобы ходить с ним за стадом, забыть обо всяческих заботах, жить потому, что так нравится...

Она немного протрезвела и шла, почти не шатаясь. Идти нужно было далеко, за пруды и церковь, и это ее радовало. Ее больше не тошнило, а просто был пресный, спокойный хмель.

Они прошли мимо коровника. В загоне виднелись темные силуэты коров. По плотине прыгали лягушки.

— Хочешь посидеть? — спросил Костя.

Она обрадовалась и свернула с дороги. Они сидели над прудом, и он обнял ее, и она прижалась затылком к его плечу.

— Я тебя знаю, — сказала она. — У тебя была самая сильная рогатка, и однажды ты вылезал из танка, а мальчишки толкнули люк, он упал и прибил тебе пальцы. Ты целый год ходил с распухшими пальцами, они почему-то очень медленно заживали.

— Ты откуда знаешь? — потрясенно спросил он.

Тогда она рассказала ему свою жизнь, и он смутно припомнил ее. Он даже помнил те амбары и сборы конского щавеля на лугу. Все это было странно и здорово. Они сразу стали как бы сообщниками.

— И когда ты ходила за мной в лес, ты тоже знала это? — спросил он.

— Конечно, — сказала она.

— Я не буду тебя больше трогать.

— Нет, трогай, — сказала она.

Он удивился, повернул ее лицом к себе, провел пальцем по рассеченной брови.

— Болит?

— Нет, — сказала она.

— А тут болит?

— Нет, — сказала она.

Он крепко сжал ее и стал целовать в губы, в щеки, глаза, брови, подбородок, шею; она знала, чего он хочет, но ей не было страшно или неприятно. Она увидела звезды в небе. «Значит, я трезвая, — подумала она, — раз вижу звезды и узнаю их. Значит, мне в самом деле хорошо, а не от водки. Водка была давно, а это другое. Я люблю его».

Когда она открыла глаза, был уже рассвет. В небе горело растрепанное

золотое облако. Костя смотрел на нее влюбленными глазами и целовал время от времени нежно, бесконечно ласково, и гладил по голове, потом шею, потом спину, как гладят котят. Ей это было до слез приятно, до слез нужно, и она снова закрыла глаза, чтобы это продолжалось дольше.

Замычали коровы, раздались звуки железа.

Возле коровника кто-то появился. Галя посмотрела — это пришла баба Марья. Пожалуй, было уже три часа, если не больше.

— Пора идти, — сказала Галя.

— Да, — согласился он.

— Я пойду.

— Иди, — сказал он.

Она поцеловала его, посмотрела на его лицо испуганными, недоумевающими глазами, посмотрела так, словно хотела навсегда запомнить его таким, и пошла через плотину к коровнику.

## Третья часть

Она почувствовала, что жизнь ее решительно переменилась. Она не верила своему счастью.

«Нет, но скажи, как это? — спрашивала она. — Где ты был раньше, где я была? Нет, объясни мне, как это, почему мы встретились? Почему именно я — и ты?»

Она не высыпалась, голова была глупая, но ноги носили ее, словно по воздуху, все у нее горело в руках; и она готова была плакать от благодарности за тепло, которым одарила ее судьба.

Шла осень. Леса становились красными, желтыми, лиловыми. Листья сыпались огненным дождем с кустов, когда их задевали.

Этот прощальный великолепный пир задавала природа, словно с необъятных синих высот своих спрашивала: «А вы так умеете?»

Убирались и оголялись поля; листвой были запружены ручьи; листья плавали в ведрах, вытасненных из колодца, и вода пахла ими. Солнце стало холоднее, небо бледнее. Скот за лето нагулялся, был сытый, лоснящийся. Уток на утятнике поуменьшилось, новых не выводили, а оставшиеся, ждавшие своей очереди на мясокомбинат, временами поднимали невероятный гам, когда в небе, покрикивая, пролетали на юг дикие гусиные стаи.

Совершенно неожиданно Рудневская ферма вышла на первое место по области. Пришла газета, и в длинной сводке ферма была напечатана первой.

Доярок это здорово удивило, потому что такого спокон веку не было, и потом никто за это первое место не боролся. Они даже посмотрели газету с каким-то недоверием. Чудо какое-то!

Однако никакого чуда не было. Молока они сдали действительно столько, сколько показала газета. Просто очень ловко пас коров пастух Костя; просто Волков здорово взгрел бригадира, и подкормка поступала вовремя; просто коровы были хорошие, не ахти какой породы, но это были обыкновенные здоровые коровы; и просто доярки работали честно, с хорошим настроением, рук не жалели, раздоили этих коров на славу. Было совпадение тысячи разных мелочей, на которые никто не обращал внимания, как на что-то важное. Просто, когда заболела Чабуля, Галя как сумасшедшая носилась в Пахомово за ветеринаром. Когда Комета телилась,

Ольга просидела над ней сутки. Когда Комолую бодали и пробили рану на боку, эта рана была сразу же смазана, заклеена пластырем, и никаких осложнений не произошло. Подвигов не совершали, каждый делал то, что ему естественно положено было. И надоили молока по семнадцать литров на корову.

Это доказывало ту простую истину, что дело не только в чистоте пород, не только в механизации или расстановках и перестановках — то на привязи, то без привязи, а прежде всего в хорошем корме и человеческом к скоту отношении.

Первенство по области обернулось для фермы целым рядом событий.

Первым его результатом был торжественный визит зоотехника Цугрика. Это был дородный, цветущий, но уже немного лысеющий мужчина с большим задом и гладкими, холеными руками. Одет он был в умопомрачительные хромовые сапоги, синие галифе, белую вышитую рубаху, подпоясанную шнурком с кистями, и в китель нараспашку. Этот стилига прибыл в кабине грузовика, привезя с собой в кузове три ящика пустых водочных четвертинок и тихую, перепуганную девицу-лаборантку с острым красным носом.

— Так-с, девочки, — сказал он сбежавшимся дояркам. — Самотека довольно, ставим ферму на строгий учет. Вот эти бутылки — отныне вы будете их наполнять, то есть брать пробы от всех коров утром, днем и вечером. Я вам покажу, как это делается.

Сняв китель, он прошептал в коровник, а девица принесла за ним ящик. К сожалению, показать он не успел. Как раз Чабуля махнула мокрым хвостом, и вышитая рубаха оказалась вся в брызгах. Цугрик так расстроился, что оставил пробы и отправил девицу стирать его рубашку. А без нее пробы взять было невозможно: доить он сам не умел и не хотел, чтобы это открылось. Он занялся теоретической частью.

— Надаиваете от каждой коровы неполную четвертинку и наклеиваете этикетку: такого-то числа, столько-то часов, такая-то корова. Определяете жирность...

— У нас нечем определять жирность, — сказала Галя.

— Как нечем? За вашей фермой числится аппарат!

— Мы его не видели.

— Как не видели? Да вы знаете, сколько он стоит?!

— Мы никогда его не видели!

— Значит, украден? Хорошо, — зловеще сказал Цугрик. — Тогда придется разложить стоимость на всех — и возмещайте.

Начался форменный скандал. При уходе Софьи Васильевны никакого

акта о передаче ценностей не составляли, Цугрик особенно на это упирал. Ольга дошла до слез. Галя тоже расстроилась.

Наконец, вдоволь покуражившись, Цугрик согласился поискать аппарат у себя, но потребовал, чтобы с фермы дважды в неделю отправлялись ящики с пробами, и анализы будут производиться там.

Поднялась на ферме бурная деятельность: мыли бутылки содой, резали бумагу, клеили этикетки, надаивали молоко, писали, сушили рубашку, бегали за утюгом. Только к вечеру энергичный зоотехник отбыл с ящиками и девицей. И тогда только Галя вспомнила, что забыла спросить, куда будет поступать молоко после лабораторных исследований и по какой графе его проводить.

Вторым результатом первенства был приезд грустного дяденьки из областного издательства за передовым опытом.

Дяденька этот жил у тети Ани три дня, очень много кушал, старательно смотрел, как доярки доят коров, и что-то писал в клеенчатую тетрадку.

Он понятия не имел о животноводстве, но нуждался в деньгах. А в областных издательствах выпускается пропасть суесловных художественно-технических брошюр.

Пишут эти брошюры не сами передовики, а подставные за них лица, равно далекие и от литературы и от опыта, но нуждающиеся в деньгах.

Вопрос десятый, сколько действительного, а не описанного во всех учебниках опыта излагается в этих брошюрах и насколько они дублируют друг друга по стране.

Вопрос также сотый, куда потом поступают эти художественно-технические книжицы: распределяют ли их по разнарядке, покупает ли их какая-нибудь живая душа, идут ли они обратно в котел, — главное, издательства работают полным ходом, планы по «опыту передовиков — в массы!» составляются, одобряются, выполняются и гонорары выплачиваются.

Подобного опыта у нас накопилось уже столько, что положительно шагу нельзя ступить без него. Жаль только, что доярки в Рудневе его не читали: присланный по разнарядке, он лежал грудой в самом пыльном углу правления, и лаборантки иногда завертывали в него партии семян.

Грустный дяденька долго и нудно канючил, выпрашивал какие-то секреты. Коров он боялся, и коровы пугались его. Доярки нервничали — они и рады были помочь, но не знали как. Так он и уехал с пустой тетрадкой.

Однако брошюра все-таки появилась. Дяденька остроумно вышел из положения, переписав в нее большую часть руководства, выпущенного Сельхозиздатом, только изложив это в форме диалогов и расцветив дюжиной тощих эпитетов для придания художественного блеска.

Третьим результатом было прибытие фотографа из газеты. Это оказалась женщина, очень сердитая, очень требовательная и решительная.

Едва переступив порог, она поставила требование, чтобы доярки были в белых халатах. А где их было взять, если рудневские доярки сроду не видели белых халатов и не представляли, как это в них работают?

Дошло до того, что хотели принести простыни и задрапироваться в них. Но тут вспомнили о медпункте, одолжили один халат и, надевая его по очереди, все переснимались. До смерти напугав коров вспышками лампы, решительная женщина отщелкала ленту и уехала, снимков не пообещав.

Четвертым результатом было прибытие вымпела. На нем было вышито: «За первенство в социалистическом соревновании», но откуда он прибыл, кто и когда его присудил — этого доярки так никогда и не узнали.

Присуждение где-то состоялось, было занесено в протоколы, но пока вымпел путешествовал до места назначения, обратный адрес потерялся. Так иногда бывает: вымпел присудят, а вручить забудут, а если передадут, так забудут сообщить, от кого и за что. Далеко не всегда так бывает, но — иногда. А шофер, с которым передали, смотришь, уехал. Воробьев, пожалуй, мог знать, откуда вымпел, или разузнать, но у него дел и без того много, да и вообще кому есть досуг заниматься такими расследованиями. Есть вымпел — и хорошо.

Однако раз есть вымпел, надо его куда-то помещать. Поместить было решительно некуда. Вот тут-то Иванов и превзошел сам себя: прислал плотников, и те в один день оборудовали в пристройке красный уголок. Он получился уютный и теплый, так как одна стена обогревалась котлом. Тут можно было и переодеться и погреться зимой. Доярки уж так благодарны были этому вымпелу, повесили его на самом почетном месте.

Более того, Иванов собрал по ящикам разные валявшиеся у него брошюры, как-то: «Устройство доильной площадки типа „елочка“», «Использование синтетической мочевины в животноводстве» — и красивым веером расположил на столе. Опять-таки мочевины на ферме не было, а площадку «елочка» без доильных аппаратов не устраивают, но Иванов тонко рассчитал, что, если в следующий раз приедет писатель или начальство, оно сразу увидит, что воспитательная работа среди доярок ведется на должной высоте и в результате достигнуты успехи.

Костя пришел со стадом сердитый и расстроенный. Когда он гонял коров по убранному полю вдоль леса, исчезла Пташка.

Петька обыскал пол-леса, но коровы не нашел.

— Придет, — успокаивали доярки, — никуда не денется, разве к соседям забредет.

Галя подумала и решила идти искать; у нее были основания беспокоиться.

— Я с тобой, — сказала Люся Ряхина. — Возьмем велосипеды, мой и Валькин.

Они выехали после обеда.

Погода была хороша, хотя в воздухе уже ощущался осенний холодок. Велосипеды были не новые, скрипели и щелкали, а впрочем, бежали бойко по твердым непыльным тропкам.

Когда-то здесь впервые Галя шла в лес со стадом, видела камыши, осоку, бочаги с плавунцами. Плавунцов уже не было, а в бочагах гнили бурые листья.

Проколесив по лесу часа полтора, они выехали прямо на родник с болотцем и изогнутую березу.

— Стоп, — сказала Люся. — Отдохнем.

Они положили велосипеды в траву и сами присели. Гале стало сладостно-больно и грустно. Береза все так же отражалась в воде, усеянной листьями, голая, неестественно изогнутая, но полная жажды жизни. Шел когда-то по лесу великан. Краем сапога он наступил на эту березу. Она упала и выпрямиться не смогла, только изогнулась, продолжая тянуться к небу. А лет ей было, наверное, пять в ту пору, а сейчас уже сорок, пожалуй.

— Было у меня тут дело, — сказала Люся. — Смеяться ли, плакать, сама не знаю, а вспомнишь — вздохнешь.

— Что было? — холодея, спросила Галя.

— Так, стадо пасти помогала, — насмешливо сказала Люся, сгребая кучки листьев.

— С Костей?

— Ага...

Галю бросило в жар. «Вот кто к нему ходил! — подумала она в каком-то страхе. — Она тоже сидела, прижавшись к нему спиной, а может,



хлесталась кнутом, и Петька уходил домой — умный такой, все понимающий Петька».

Ее разом охватила такая ярость, и обида, и злоба — она бы ударила в Люсино лицо, оно было отвратительно, и вся она отвратительная, мерзкая, гадкая...

— Костька не дурак малый, пока ему не надоест, — говорила тем временем Люся, — а вообще хамло, каких мало на свете.

Прошел по лесу порыв ветра, голые ветки зашуршали, застучали в вышине. И разом Галина ярость прошла так же быстро, как и появилась. «Люська была до меня, — подумала она, — а теперь уже нет. И какое мне дело? Пусть она ревнует, а не наоборот».

— Теперь ты кого-нибудь любишь? — спросила она дипломатически, чтобы успокоиться.

— А, никого не люблю и любить не буду, — равнодушно сказала Люся. — Ее нет, любви, все выдумки.

— Ты что?..

— А что? Любовь! Только в книжках читала когда-то, и то треп.

— Ну, — улыбаясь, сказала Галя, — есть, я знаю...

— Нету, выдумки! — запальчиво воскликнула Люся.

И Галя подумала: «Какая она маленькая, как из детского сада».

— Вон Валька спуталась с шофером. Он ей: «Люблю тебя, любовь моя!» — а сам только и знает, что под кофту лезть. Нужна мне такая любовь! А Валька твердит одно: «Пойдем распишемся». Тоже «любовь»!

— И что?

— А что? Согласен! Дом у него в Дубинке, правда, отцовский, не свой, но и свой, говорит, в момент построим. Шоферы, они всё достанут. Валька ревет: «Не хочу в девках сидеть! Когда-то другой случай представится. А с ним будет хорошо, все достанет, и дом свой, из доярок смыться можно. А любовь мы в кино посмотрим».

— Любовь — когда без другого человека жить никак нельзя, — глубокомысленно заметила Галя. — Пусть бы меня резали, не пошла бы замуж только за какой-то дом, тьфу! Лучше умереть!

— Ну и отышачишь сорок лет в доярках — и тогда умрешь.

— Хотя бы и так, скажи своей Вальке. А свою душу, свою надежду, веру в счастье, будущую любовь топтать ради какого-то дома — это же страшная глупость! — воскликнула Галя, а сама подумала: «Она тут была с ним. Он, наверное, говорил ей: „Бедненькая моя!“ — и гладил по голове, потом по спине, как гладят котят».

Не в силах больше сидеть и говорить, она вскочила, и тут ветер донес

странный звук. Она прислушалась — тихо мычала корова.

Они нашли Пташку в неглубокой яме, усыпанной буро-желтыми листьями, скрытой кустами. Сама буро-желтая, корова стояла, испуганно глядя на людей, а у ее копыт лежал бурый, мокрый, вылизанный теленок. Челка у него топорщилась, и он задирает маленький сопливый нос. Пташка прядала ушами, взволнованно фукая. В отличие от теленка она была грязна и облеплена листьями.

— Сумасшедшая корова, — сказала Галя, — ведь ждали через три недели!

Теленок был славный. Они бросились к нему, тормоша и разглядывая, переполненные нежностью и восторгом. Пташка беспокойно просовывала морду между ними, лизала свое дитя и лизала им руки, словно прося не обидеть. Они и посмеялись и прослезились; и было такое чувство, что их тут не двое, а трое, — так понятна была Пташка-мать.

Галя осталась сидеть с коровой. Люся поехала в село и вернулась с подводой, на которой к вечеру теленка доставили на ферму. Тут Пташка и теленок были разлучены навсегда: теленок — в телятник, корова — в коровник, как было заведено испокон веков по методу Цугрика, несмотря на то, что корова тревожно мычала и вертела головой с испуганными ищущими глазами.



Пташка ревела несколько дней. Галя не раз уже видела, как забирают телят у коров, но на этот раз была потрясена. Слишком хорошо она знала свою Пташку и, еще сидя в лесу возле нее, подумала, что каждая скотина — это не просто скотина, а целый мир, пусть проще, бесхитростнее человека, но все же мир, похожий на наш и понятный нам, на который, впрочем, мы не обращаем внимания и с которым не считаемся.

ПТАШКА, например, была нежным и добрым существом. У нее были круглые лакированные рога с черными кончиками, но она не подозревала, зачем ей они. В толкучке за едой она неизменно оказывалась позади; Костиного кнута боялась пуще огня, и он ее не бил: достаточно было слова, она понимала.

Она любила лизать руки Гале и некоторым дояркам, но мужчинам никогда не лизала — может, потому, что пахли табаком.

Своего теленка она помнила слишком долго и иногда принималась так

мучительно и по-бабьи тоскливо мычать, что хоть возьми и принеси его ей.

Она была безобидна и послушна во всем, кроме одного заскока: еще не было случая, чтобы она родила теленка в коровнике. Непонятно, как ей это удавалось, но она неизменно обманывала всех и в момент, когда этого меньше всего ждали, вдруг убегала из стада, забиралась в рожь, в глухие заросли, и, пока ее искали, теленок появлялся на свет. Потом это место она долго помнила и, тоскуя по отнятому теленку, не паслась, а все стремилась к этим зарослям, уже не слушаясь ни слова, ни кнута. И Костя поджигал кусты, выжигал саму землю и запах; тогда Пташка успокаивалась.

Иванов за это ее страшно невзлюбил: всякий раз, высылая подводу, клялся, что в следующий раз этот номер ей не пройдет. Но следующий раз наступал, и номер проходил.

ЧАБУЛЯ, наоборот, своих детей не любила, не понимала и сейчас же их забывала. Уносят теленка — она даже не покосится, жует себе и помахивает хвостом.

Это было угрюмое, глупое и бестолковое животное, постоянно битое не за свою зловредность, а именно за глупость.

Молока она давала меньше всех, хотя ела без меры, раздувалась, как пузырь. Часто вываливалась в грязи. Какая-то тупая флегма, без запросов, без фокусов и талантов, она больше всего соответствовала идеалу Иванова, пожалуй, но Гале она была неприятна, и с ней она никогда не сдружилась — это было просто невозможно.

БЕЛОНОЖКА была приятна и общительна. К сожалению, будучи «тугосисей» от природы, она доставляла много трудов хозяйке, но за характер Галя ей все прощала.

У Белоножки были добрые глуповатые глаза, она любила, чтобы ей чесали шею — тогда она поднимала голову так, что казалось, хрустнут позвонки.

Никогда никому Белоножка не сделала зла, была простой, привязчивой сангвиничкой, с которой всегда можно сладить. Она отличалась необычной мастью: шерсть ее была белая-белая, даже рога были наполовину белые, но когда светило солнце, Белоножка казалась розовой. Ее знало все село.

КОМОЛКА родилась на свет без рогов. Даже бугорков на лбу не было, вместо них, наоборот, две ямки. Из-за этого морда ее казалась удлиненной и изящной, как у лани.

Она была в стаде «возмутителем спокойствия». Без всякой причины

она своей безрогой головой так толкала соседей, что те падали на колени. «Ух ты, аристократка, — рычал Костя, нещадно полосуюя ее, — я тебя научу лаптем щи хлебать!»

Но она ничему не научалась. Ее били, но она только пуще злилась. Если бы ей еще рога, житья бы от нее не было; к счастью, бог предусмотрел это: как известно, он бодливой корове рогов не дает.

АМБА была верной подручной Комолки в побоищах: едва та заварит кашу, Амба уже тут как тут!

Эта дурная особа никогда не ела из своей кормушки, а разевала рот на чужой каравай. Какое бы вкусное сено ей ни положили, она оставляла его «на потом», а сама, натягивая цепи, лезла к соседям, потрошила их кормушки, тащила, расшвыривала, при этом зло бодала соседей и даже своей наставнице Комолке однажды пропоролла брюхо.

В стаде пастухи нещадноогревали ее батогами вдоль и поперек, отчего она ходила вся полосатая, и доярки звали ее «Тигра».

Эта закоренелая злодейка смиренно опускала голову лишь перед Лимоном, вдруг становясь этакой смирной, послушной и вежливой, едва он останавливал на ней свои бессмысленные выпученные глаза.

АРКА считалась «шаговитой» коровкой. Она ходила быстрее всех, как-то споро, мягко, без суеты. Пастухи были просто без ума от нее; она словно угадывала их мысли, и одного легкого свиста Петьки было достаточно, чтобы она свернула на нужную тропинку.

Галя гордилась, что впереди стада неизменно идет ее умная, толковая Арка.

Плохо только, что у этой умницы были какие-то законченные, безмятежные глаза. Отлично постигнув все правила жизни, она не знала никаких сомнений. И хотя она не брыкалась, не бодалась, вела себя крайне дисциплинированно, к ней все же не тянулась душа. Бывают и люди такие, положительные в высшей степени, но такие законченные, засушенные и правильные в своей положительности, что уже через три минуты общения с ними начинаешь задыхаться.

Так что, несмотря на все уважение к Арке, сердце Галино к ней не лежало, сердце любило Сливу.

СЛИВА была очень женственна, если позволительно так сказать о корове. Она не фокусничала, как Комолка, не подличала, как Амба, не была тупой, как Чабуля, или отличницей, как Арка, она была доверчиво-добрая, чувствительная и задумчивая. Ее не следовало бить, даже бранить — от

этого она сверх меры пугалась, и шкура у ней нервно подрагивала. Она любила спокойные, ласковые слова и прикосновения.

Слива и Белоножка стояли рядом и очень дружили. Но в Сливе была та глубина, которой полностью лишена была Белоножка. Слива могла подолгу стоять в задумчивой позе, не обращая внимания на шум, драки, мычание; и в этот момент Галя казалось, что Слива, потеряв всякую надежду понять окружающих, живет в своем замкнутом трудном мире и все думает и думает о чем-то.

Галя подходила, гладила ее спину. Уши коровы вздрагивали, настораживались, она минуту ждала, потом поворачивала голову и смотрела как бы с надеждой: не тот ли это случай, которого она так долго и тоскливо ждет, и казалось, она сейчас заговорит.

Да, она иногда действительно говорила «мы-ы», получала корку хлеба с солью и удовлетворенно помахивала хвостом.

Галя любила в минуты усталости облокотиться на ее гладкую спину с золотистой короткой шерстью и так постоять отдыхая, тоже как будто о чем-то думая.

Однажды Галя стояла так, стояла, опираясь на прочную теплую спину Сливы, положив подбородок на руки, смотрела, как под коровьими брюхами копошатся доярки, таскают ведра, звякают, толкают коров и те бухают копытами. Тускло горели лампочки; хотелось спать.

И вдруг она потеряла ощущение, где здесь люди, а где не люди; были живые существа; одни живые существа возились с другими живыми существами, и все были равны перед жизнью, только одни были смекалистее, другие проще, одни ходили на четырех ногах, другие ходили на двух.

Она тряхнула головой, наваждение прошло, но странное ощущение осталось и не покидало ее несколько дней.

В один прекрасный день к ферме подкатил грузовик, набитый какими-то трубами, флягами, ящиками. Из кабины выглядывало сияющее лицо Волкова.

Колхоз получил новую доильную установку, после жестокого спора правление решило отдать ее Рудневской ферме, и это был самый существенный результат первенства.

Волков суетился, помогал сгружать, подмигивал девушкам. Ольга даже растрогалась:

— Мы уж думали, так завсегда и будем гробиться, богом проклятые, не дождемся добра.

— Добро, — сказал Волков, — в наших руках. Условно, конечно, но, пока жив человек, надо верить, требовать, добиваться, тогда и добро будет, разве не так?

Механики собрали установку.

Над стойлами протянулась железная труба, из которой насос выкачивал воздух. По трубе шли краники, к которым присоединялись доильные аппараты. Как только они присоединялись, из них тоже вытягивался воздух.

Сам аппарат состоял из герметического бидона, от крышки которого отходили четыре резиновые трубки с четырьмя колпаками на концах. Колпаки были продолговатые, металлические и назывались «стаканами». Они заменяли человеческие руки. Стоило поднести такой стакан к коровьему соску, как он присасывался к нему, словно медицинская банка, и тянул молоко. Несложное устройство — пульсатор — то прерывало сосание, то включало с такой ритмичностью, с какой тянет теленок. Аппарат все время издавал звуки: «тик-пшик», «тик-так». В нем было смотровое стекло, за которым проносилось порциями молоко, а потом видна была уже одна только пена — значит, дойка кончена, и аппарат отключали, переносили к следующей корове.

Вся работа доярок сводилась к тому, что они рубильником включали мотор с насосом, надевали и снимали стаканы да перекачивали бидоны от коровы к корове. Инструкция гласила, что пульсатор дает сорок-пятьдесят пульсов в минуту, а вся дойка длится не больше семи минут.

Это была фантастика, настоящее рукотворное чудо. Доярки смотрели,

учились, доили, не веря своим глазам.

Это было бы полной фантастикой, если бы только все получилось по инструкции. Но получилось не так.

Когда на рудневских коров надели эти жесткие, щелкающие, оттягивающие вымя железяки, когда вокруг все зашипело, затиктакало, а соски начало сильно дергать, коровы перепугались и зажали молоко.

Аппараты им решительно не нравились, аппараты вызывали в них ужас.

— Не привыкли еще, — успокаивали механики.

Когда-то в первый день Слива не отдавала Гале молоко только потому, что Галя была чужая. Теперь не помогали ни уговоры, ни корки хлеба с солью, ни ведро комбикорма, которое Галя с отчаяния бухнула в кормушку. Слива комбикорм слопала в десять минут, а аппарат четверть часа совершенно бесполезно прощелкал на ее вымени.

Галя села доить руками — молоко пошло. Надела доильные стаканы — ни капли! Опять взялась руками — Слива перестала отдавать и рукам. Галя стала с ней такая же красная, мокрая и беспомощная, как в свой первый день. И помочь никто не мог — все бились так же. С Белоножкой можно было не пробовать: эта «тугосисяя» и рукам-то едва отдавала.

Несколько дней ферму колотило. Удои полетели вниз, как в пропасть. Доярки изнервничались, коровы тоже.

Только очень немногие коровы начали потихоньку привыкать и смиряться. Выражалось это в том, что половину молока они отдавали аппаратам, а потом их додаивали руками. Однако все до единой коровы стали доиться хуже. Слива, дававшая прежде в день по двадцать литров, съехала на двенадцать.

Прибыл на ферму какой-то корреспондент, хотел описать успехи, но быстро ретировался.

Баба Марья слегла и передала, что на ферму больше не вернется. За ней уволилась тетушка Аня.

Впрочем, это было и кстати. При доильной установке доярка должна обслуживать уже не дюжину, а двадцать коров.

Но хотя на девушек теперь пришлось всего по семнадцати коров, такой тяжелой работы они еще не знали. Порой некогда было и пот со лба вытереть: надевай стаканы на одну корову, сама кидайся додаивать другую, на третьей аппарат шипит впустую, скорее снимай, переноси на четвертую, а тут уже первая не отдает, снимай с нее и додаивай. А аппарат выполняет



самую легкую часть дела, «снимает сливки», а вторая часть дойки всегда труднее, так что доярка все так же гнулась над выменем, только бегать стала больше.

Раньше, подоив, ополаскивали ведра и шли домой. Теперь надо было мыть горячей водой весь аппарат да еще периодически разбирать его до основания, мыть все его железки в соде, менять трубки, клапаны. Таким образом, на каждую доярку пришлось работы больше, а молока ферма стала давать меньше.

Галя кинулась к инструкции, к учебникам и брошюрам передового опыта. Везде доильные аппараты расхваливались, как замечательное достижение науки и техники, но нигде не было объяснено, что делать со Сливой.

Вся эта литература абсолютно игнорировала корову как живое существо. Предполагалось, что это тоже своего рода машина или бесчувственное бревно, которому безразлично, пилят его вручную или электропилой.

Нашлась и на ферме такая корова, которая ближе всего подходила к научно-техническому идеалу, — Чабуля. Это тупое и глупое животное, отнюдь не молочное, раньше давало дюжину литров. Теперь от нее Галя надаивала аппаратом литров восемь да руками два-три — и на том спасибо!

Со Сливой же творилось что-то неладное. Она была позднего отела, ей бы доиться да доиться, а молоко убывало катастрофически. Галя хотела поехать на какую-нибудь другую ферму, поговорить с опытными людьми, но когда и как? Выходных не было. Она очутилась в безвыходном положении: советов, инструкций, указаний было хоть пруд пруди, а на самый простой и главный вопрос — никакого ответа, будто он впервые возник.

Тася Чирьева сказала:

— Давайте их поломаем, эти проклятые аппараты, переделаем коров по-старому и руками опять...

Составляя вечерами справку о надое, Галя подолгу в тупом недоумении задумывалась над ней.

Шел одиннадцатый час вечера, дойка кончалась, и Галя выключила мотор. Она с минуту постояла, отдыхая, наслаждаясь тишиной. Уже все разошлись. Галя в этот день задержалась больше, чем когда-либо, еще надо было отнести свои бидоны и запереть подсобку.

Было такое ощущение, будто какая-то корова осталась недодоенной. Из-за того, что все время мечешься, не мудрено запутаться в семнадцати головах. Вспомнить ошибку не хотелось, и она не стала вспоминать.

Коровы ее ряда стояли беспокойно, еще не придя в себя после аппаратов. Амба и Чабуля коротко подрались, и обе отпрянули, гремя цепями. Слива стояла неподвижно, как статуя, глядя в одну точку.

— Что мне с тобой делать?.. — сказала Галя, тронув ее.

Корова вздрогнула, потянулась влажными губами к руке и щедро лизнула ее, так что рука стала мокрая. Уши настороженно слушали, пушистые, в золотистом сиянии от электрического света. Вдруг они быстро повернулись, и Галя тоже услышала какой-то тихий стук.

Сторож еще не приходил, а если приходил, то не с той стороны. Гале стало страшно. Она тихо прошла к подсобке и заглянула в дверь. Там метнулась громадная тень. Галя чуть не закричала, но тут вышла Тася Чирьева с мешком в руках.

— А! — сказала она. — Звиняюсь...

Она спокойно вернулась к закрому и вытряхнула из мешка комбикорм.

— Ты никому не говори, — сказала она, просительно улыбаясь и сверкая золотыми зубами. — Я больше не буду.

Галя молчала, смешавшись.

— Ты чего так засиделась? — сказала Тася. — Девки в клуб пошли, там матросик приехал... Пошли и мы? Ладно?

Они вышли в темноту и, спотыкаясь, проваливаясь в колеи, пошли к клубу, который ничем не отличался от других изб и который постороннему человеку трудно было бы найти.

— Ты на меня не обижайся, что я хотела тяпнуть, — сказала Тася. — Я же не у тебя хотела, а так. Вот ты у меня Костьку отбила, а я и то не обижаюсь...

— Костьку?

— Ну да. Как ты стала к нему ходить, он со мной и знаться не захотел. Сижу теперь одна, как палец. Нечто в клубе какого мужичка подцепить?..

— Вернется муж, он тебе устроит, — сказала Галя несколько дрогнувшим голосом.

— Устраивал уже! Поцапались мы с ним. Я говорю: «Уходи!» Он ушел к своим. Через два дня идет — за вещами. «Ну, бери». Слово за слово, он мне — одно, я ему — два. Он как сгреб меня, как стал душить за шею, аж кости повредил. Я уж кончалась, когда соседи отняли. Получил, гад, за то три года и отсидел сполна. Такой муж. Нет у меня мужа, нету никого...

— И родных нет?

— Была мать, да в пятьдесят втором году померла.

— Не могу я только понять, как ты живешь.

— Так и живу!

— Скажи, ты когда-нибудь думаешь: зачем?

— Ой, мамочки, насмешила! — воскликнула Тася. — Да что я, чокнутая? В жизни не думала и думать не хочу, пусть лошади думают, на то у них головы большие!

— Правда?

— А то! Разве что-нибудь поймешь в этой жизни? Тьфу!.. Гляди, а Костя-то наш не дурак, уже новую обхаживает!

Галя взгляделась в темноту, и сердце ее упало. Впереди шла пара, и парень был Костя, а девушку она не могла разглядеть. Они поднялись по ступенькам и вошли в избу-клуб.

— В самый раз я тебя повела? Да? — хихикнула Тася. — Ладно, не теряйся, главное — не думай, как я. Все бывает!..

— Погоди, не лети, дай я отдышусь, — сказала Галя.

Они постояли под крыльцом. В избе пиликала гармошка, и на занавесках мелькали быстрые тени. Все крыльцо было усыпано окурками и подсолнечной шелухой.

Отпускной матросик для деревни — это почти как фестиваль для столицы. Матросик был по всем статьям — отутюженный, загорелый, просоленный, даже с баяном. Но в последнем как раз и крылся его минус: он играл, улыбался, но не танцевал, так что возле него можно было разве что посидеть.

Клубная изба была просторная и голая. Потолок был низок, и под ним горела одна-единственная, но нестерпимо яркая лампочка.

Некрашенный пол избы был из широких досок, между которыми образовались такие щели, что приди кто-нибудь на тонких каблуках — ушел бы без них.

Вдоль стен стояли длинные грубые скамьи, а на стенах висели

пожелтевшие сельскохозяйственные плакаты. В углу имелся стол с подшивками двух газет и почему-то журналом «Советский воин». Иногда кто-нибудь листал их от скуки, но, как правило, самый свежий номер был недельной давности. Всем этим делом заведовала жена Иванова; по существу, ее функции сводились к тому, что она приходила и отпирала висячий замок, а иногда не приходила и ее искали по всей деревне.

Самыми стойкими посетителями клуба были мальчишки десяти-пятнадцати лет. Они приходили первыми и уходили поздно. Трудно сказать, что их привлекало. Они сидели рядами вдоль стен, вскакивали, бегали на улицу, бузотерили, пищали, квакали и выключали свет.

Другой категорией постоянных посетителей были старики. Эти приходили с палками, прочно усаживались на одни и те же любимые места и высиживали до полуночи, иногда крича что-нибудь друг другу на ухо, а то молча. Большим событием вечера было, если удавалось расшевелить кого-нибудь из них. Сидит дед, сидит, потом лихо вскрикнет, шваркнет шапку об пол и пошел топтаться криво-косо на потеху мальчишкам и всему обществу. Об этом вспоминали несколько дней.

Гармонистом обычно был «муж» Людмилы, умевший играть только «та-ра, ти-ри», и под эту нехитрую музыку честной народ ухитрялся танцевать все. Иногда случались заезжие гармонисты из других сел. Это устраивалось заранее, по обдуманному плану. Перед этим девушки целый день шушукались, покупали в складчину пол-литра, кто-то ехал в другое село, кто-то завлекал, и вот гармонист торжественно являлся. В такой вечер приходили даже женатые.

Женатые обычно в клуб не ходили. Негласно считалось, что клуб — это место знакомств, где присматриваются друг к другу. Ну, а коль уже поженились, то ходить в клуб странно. Замужние женщины сразу становились чинными, мужчины блекли и начинали танцулькам предпочитать выпивку. Женатики смотрели на клуб и всякую шушеру, которая туда ходит, свысока, достаивая своим посещением разве что ради приезжего гармониста.

По вторникам и субботам в клубе пускали кино. Тогда уж шли все без различия, набивалась полная изба. Но механик всякий раз скандалил и кричал, что не начнет пускать, пока не купят двадцать билетов — это был его минимум.

Войдя в клуб, Тася почувствовала себя, как рыба в воде, вскрикнула: «Их, их!» — и пошла танцевать, выкомаривая перед матросиком.

Галя осмотрелась и увидела в углу, у стола с газетами, Костю. Он стоял спиной и разговаривал. Девушку она опять не видела.

Тогда она прошла в другой угол, увидела ясное, улыбающееся Костино лицо и увидела ту, с которой он говорил. Это была Людмила-птичница.

Галя села на скамейку и стала ждать. Но Костя и не думал ее замечать. Когда матросик заиграл какой-то модный чарльстон, Костя с Людмилой стали танцевать. Танцевали они польку. Очень долго танцевали. Людмила вся таяла и толкалась о Костю грудью.

Галя почувствовала себя очень неловко и странно. Она сидела, как чужая, скамья по обе стороны была свободна. А Тася уже оказалась рядом с гармонистом, развязно положив ему руку на плечо, что-то щебетала, пронзительно хохотала.

Так прошел час, наверное, как показалось Гале. Потом Людмила накинула платок и ушла. Костя постоял и тоже ушел, но вернулся сейчас же и прямо направился к Гале.

— А, привет! — сказал он. — Станцуем?

Она положила ему руку на плечо, но танцевалось плохо: она все время почему-то заплеталась. Засиделась, видно. Костя был хороший, внимательный и ласковый. У нее опять отлегло от сердца.

— Что такая скучная? — спросил Костя. — Опять думаешь? Охота тебе задумываться!

— Вы все учите меня не думать, — с досадой сказала она, — я неспособная, не получается.

— Иди ты! — вдруг грубо сказал он. — Надоело мне твое рассуждательство.

Если бы он этого не сказал, она бы ни словом не попрекнула его за Людмилу и вообще забыла бы этот тягостный час, и все было бы по-прежнему, но эта неожиданная грубость и холодок задела ее. Она возразила:

— А может, мне еще больше надоела твоя бездумность?

— Пожалуйста! Мне наплевать.

— Нет, не плевать, — сказала она, чувствуя, что ее заносит, но не имея сил остановиться; теперь ей было уже страшно обидно за то, что он привел Людмилу в клуб, а не ее. — Нет, не плевать. Ты живешь, не думая, а придет пора об этом пожалеть.

Он с иронической улыбкой смотрел на нее.

— Да! — воскликнула она, сама не зная, что говорит, но желая любой ценой уязвить его. — Будь я такой здоровенной, не сидела бы у стада в рваных опорках, а водила бы комбайны!

— Ого!.. — сказал Костя. — Это уже разговор. Ну-ну!

— Ты такой силач, бык, — говорила Галя, уже пугаясь своих слов, —

живешь, как скот, нажрался, баб себе в лес водишь, а потом валяешься и в небо смотришь. Что ты там видишь, спрашивается!

— Вороны летают, — пошутил Костя.

— Там такие парни на ракетах летают, а ты — как жаба в болоте. Вот так!

— Ну, — сказал Костя. — А мне все равно.

— И плохо, что все равно, — сказала Галя. — Нам дана жизнь. Слива и та живет пятнадцать лет, а мы сто. Да за эти сто можно такое сотворить!.. Слива и та море молока дает, а что ты мог бы дать!

Они уже не танцевали, а стояли у стены, насторожившись.

— Свинья, — сказала Галя, — свинья ты, а не человек! И вкуса у тебя нет и порядочности!

— А ну, — вдруг тихо, озверев, сказал Костя, — уматывай отсюда: я не желаю тебя тут видеть.

— Сам уматывай, — ответила она. — А тронешь, я... я не знаю, что сделаю.

Он посмотрел на нее с такой ненавистью, с такой жестокостью, что у нее похолодела спина. Она еще не видела его таким. Но она стойко выдержала его взгляд, не веря, что он сможет ударить ее.

Никто этого не заметил. Гармонист-матросик старался изо всех сил. Таська Чирьева, обняв его за шею, орала частушки. Девушки отчаянно плясали. В дверях сбилась плотная толпа, и даже Иванов пришел и высовывал нос из-за чужих спин.

Костя опустил глаза.

— Ну, дура... — озадаченно сказал он. — Между нами все кончено. Здраваться, впрочем, с тобой я буду.

— Можно и не здороваться, — сказала Галя.

Он пробрался к двери, растолкал толпу и шел. «Сам ушел, а не я...» — подумала Галя.

Один из дедов гикнул, шваркнул шапку об пол и пошел плясать под одобрителный хохот.

Галя постояла у стенки, потом выбралась из клуба.

Она шла и не понимала, что же это случилось. Обычная это ссора или необычная? Опыта у нее не было.

Она не хотела упрекать его комбайнами и космонавтами, только ревновала. Но наговорила она чего-то, в сущности, точного, своей цели добила и допекла его, не больше ли, чем стоило? Она ничего не понимала, но было ей очень мерзко. Она готова была побежать, разыскать

его и просить прощения, но в чем? Она подумала, что опускается, раз готова бежать.

За время жизни в деревне она заметно изменилась. Уже не была той испуганной, застенчивой девочкой, какой приехала. Даже в голосе появились резкие нотки.

Если бы школьные подруги увидели ее, они бы здорово удивились. Она ни с кем не переписывалась и вообще уехала тогда, как в воду канула, имея при себе от прошлого только материн диплом да несколько учебников. Иногда по вечерам она разворачивала историю или химию и прочитывала несколько страниц, прячась даже от Пуговкиной. И со страхом убеждалась, что все забывает.

Открыла она и любопытную вещь: раньше учебники были чем-то навязанным, неприятным, а сейчас даже химия была увлекательна, как роман. Наверное, потому, что никто не стоял над душой и не требовал зубрить «от сих до сих», а в книге было много интересных вещей. Она не обращала на них раньше внимания, теперь только оценила, как, наверное, Робинзон ценил каждый предмет, каждый гвоздь, доставшийся ему после кораблекрушения.

Начались дожди, и стадо теперь не выгоняли, разве только на водопой, остальное время коровы стояли на цепях, и у доярок прибавилось много работы с раздачей корма. К счастью, Иванов пока не скупился и сено, силос, жом поставлял исправно.

Для вывозки навоза наладили подвесную вагонетку. Странное дело, рельс под потолком был и раньше, а вагонетка ржавела за коровником, пока Галя не спросила: «А это зачем?»

И оказалось, что она там лежала со времен постройки коровника, и никому в голову не пришло наладить, а много людей мучились годами, выволакивая вручную навоз.

Теперь уже не то. Вот ведь забыли, например, доярки, как мыть посуду сырой водой. Теперь мыли посуду только кипяченой и, если котел запаздывал, бранились, но никто порядка не нарушал — сидели и ждали, пока вода вскипит.

Костино пастушество на этот год кончилось: он пошел в уборщики, а Петька — в возницы. Костя приходил в коровник, убирал навоз, вывозил и слово свое держал: с Галей здоровался, но всяких разговоров избегал. И уже всем было известно, что он «ходит» с Людмилой. А тот «муж» с гармошкой плакался и переживал.

Галя не стала переживать. За работой она света не видела и так выматывалась, что едва хватало сил дотащиться до постели и бухнуться в нее. Имея мало помощи от аппаратов, она все семнадцать коров додаивала руками.

Но тут Валька Ряхина, наконец, закончила свой «роман» свадьбой с шофером и объявила, что уходит. И так у каждой доярки стало по двадцати одной корове.

Свадьбу шофер справлял лихо, на широкую ногу: сначала в Рудневе, затем в Дубинке.

Изба Ряхиных была полна знакомого и незнакомого народу. Стояли длинные столы, и все ели, пили. Людмилину «муж» тут как тут пиликал свое «та-ра, ту-ру». Шофер был комсомолец и пожелал играть свадьбу без старинных обрядов.

Галя наотрез отказалась пить. На нее сначала обиделись, потом простили. Она посидела для приличия четверть часа и, не в силах больше



дышать дымом, вышла на крыльцо.

В доме запела Людмила — красиво, звучно. У нее был отличный слух и хороший голос. Она пела долго, а Галя сидела и слушала.

На ферму идти было рано. Было прохладно, и с неба временами сыпалась изморось, но это ей не мешало.

Людмила вышла на крыльцо. За ней никто не пошел; она, шатаясь, спустилась на землю и, увидев Галю, упала на нее с объятиями.

— Не сердись, — сказала она Гале, — не сердись, дорога душа, я подлая, но я его не отбивала, он сам прицепился.

— Ладно, — сказала Галя, — не надо. Это ты выпила, иди лучше домой.

— Не пойду, — сказала Людмила упрямо. — Пусть все пропадет, а я сдаваться не желаю, я свое урву, а тогда помру, поняла? Осуждаешь меня? А я на тебя плевала! Осуждайте меня, а я над вами посмеюсь!

Гале надоело это, она встала и пошла по улице. Людмила, наверное, не заметила, потому что продолжала что-то говорить.

Дорога была мокрая, скользкая. Галя шла, опустив голову, глядя в землю, и скользкая земля бежала ей под ноги, как колесо.

Моросил дождь, и Галя пришла на ферму мокрая. Она была неприятно удивлена, увидев Костю с длинной лопатой и граблями, убиравшего навоз. Она поздоровалась, и он поздоровался с ней. Он был злой, сникший. Она принесла аппараты, намереваясь доить.

— Ты слушай, — сказал Костя, — ты зачем со мной так разговаривала в клубе, будто я перед тобой виноват или должен пять копеек? Высоко себя ценишь.

— Мне было обидно, — сказала Галя.

— А меня зло взяло. Чего ты ко мне так прицепилась? Я с тобой не расписывался и расписываться не собираюсь, учти.

— Брось ты... Никогда я не думала об этом.

— Думала! — затравленно воскликнул он. — Все думаете! Об одном только и думаете, как бы на шею сесть какому дураку.

— Я не собиралась женить тебя на себе, — сказала Галя. — Если бы ты мне предложил даже сам, я бы не согласилась. Я тебя любила. И теперь еще немного люблю. Это пройдет. Просто мне не с кем слова было сказать, и я вообразила...

— Поменьше воображай! — буркнул он, чем-то тронутый в ее голосе или словах.

Он швырнул лопату и подошел ближе.

— А хочешь, давай мириться? И я скучаю без тебя.

— Нет, не хочу, — сказала Галя. — Не надо.

— Ты что, хотела бы, чтоб я тебе в вечной любви поклялся? Так не могу. Я вообще никого не люблю. Может, потому и такой...

— Неправда, любишь, — сказала Галя. — Ты очень любишь. Очень! Себя. И потому ты такой.

— Себя я люблю, — охотно согласился он. — Каждый любит себя. А если говорит, что не любит, — так врет. А ты мне нравишься, и проводить с тобой время я могу и дальше.

— Благодарю, — сказала Галя, — не надо.

— Точно не надо?

— Точно не надо...

Ей надобно было сказать что-то такое жесточайше-уничтожающее, убивающее на месте, она знала, что должна это сказать, но не было слов, и перед глазами у нее все поплыло.

— К черту! — сказал он, забрал лопату и грабли, с грохотом зашвырнул их в угол и исчез — она не поняла куда, но, во всяком случае, его не стало, словно он растворился.

Как во сне, она принялась за обычные дела. Включила установку, надевала стаканы на Чабулю. Видно, на дворе шел сильный дождь, так как с потолка полились целые потоки.

С тех пор как начались дожди, труды по побелке и чистота рухнули. Груды соломы на потолке не только не спасали от дождя, но еще собирали воду, и дождь в коровнике еще долго продолжался после того, как снаружи кончался. На полу вечно стояли лужи, коровы мокли и хандрили. Может, они простужались.

Галя говорила Иванову, требовала: «Сделайте хоть какую-нибудь крышу!» Он клялся, что это не в его силах. «Я поеду к Воробьеву!» — угрожала Галя. «Езжай, мне что! — пожимал он плечами. — Жили уже сколько лет твои коровы без крыши».

Галя уже выдоила пять коров, когда явились Люся и Тася, обе навеселе, обе бесшабашные, потащили аппарат, разбили стекло. Ольга, сообщили они, осталась спать.

Доили они с пятого на десятое и все время хохотали. Удивительно, как они не разлили молоко вообще. Тася первая закончила, умылась, помахала ручкой и ушла.

Галя закончила своих коров и принялась за Ольгиных. Люся немного помогла. Но она так устала, что едва двигала руками. Галя отправила ее домой.

— Я бы помогла, — оправдывалась Люся. — Но нет сил, пойми меня.

- Прощаю, прощаю, иди.
- Сестренку замуж отдала, родную сестренку...
- Конечно. Да иди, иди. Не хнычь.

Люся ушла. Галя возилась, наверное, до часу ночи. Хорошо, пришел хромой муж тетушки Ани, помог катать бидоны.

Только они успели сделать это, как погас свет. Галя как ни устала, а обрадовалась, что свет погас не раньше. Она взяла мешок, чтобы укрыться от дождя, и, попрощавшись со сторожем, пошла домой.

Открыв дверь коровника, она ожидала что-нибудь увидеть. Она сделала несколько шагов и растерянно остановилась: не видно было ничего. Лил невидимый дождь с ветром, хлюпал, а в небе не было ни просвета, ни серого пятнышка — сплошная тьма.

Только по памяти Галя прошла несколько десятков метров, щупая ногой землю и надеясь, что глаза привыкнут и что-нибудь различат.

Но она шла и шла, а глаза ничего не различали, и ей стало не на шутку страшно: она уже не знала, где она. Натолкнулась на какой-то куст, хотя вблизи коровника как будто не было кустов. Под ногами была грязь — дорога или нет, непонятно.

А дождь все лил и лил, бил в лицо косыми струями, и мешок на голове сразу промок, отяжелел, ноги были давно насквозь мокры, туфли полны грязи. Она затопталась на месте, все более пугаясь, беспомощно пытаясь сориентироваться, но была только тьма и тьма.

И тут вспыхнули лампочки в избах, засветились окна коровника. Галя была на обочине дороги, направляясь прямо в пруд. После фантастической тьмы эти слабенькие лампочки светили ей лучше прожекторов. Она, задыхаясь, побежала через плотину скорей домой, промокшая до нитки, стучащая зубами. Дома была теплая печь.

Галя разделась догола, развесила все по печи, забралась наверх и сидела там, отогреваясь. Нащупав какие-то семечки, стала их грызть. Пуговкина храпела в закутке. Шумел за стенами дождь.

«Нет смысла в жизни, — думала Галя, — нет! Есть жизнь, есть смерть. Создала все жестокая природа. Вот и все. Очень просто. Очень просто!»

Ей становилось теплее. Она нащупала какое-то покрывало, завернулась в него и прикорнула, не собираясь слезать. Так тепло стало, так уютно, такое счастье было, что есть изба, в ней теплая печь, где можно спрятаться от холода.

Ранним утром забили на мясо трех свиней, и Петьке было поручено отвезти туши в Пахомово. Узнав об этом, Галя поручила своих коров Ольге и попросила подвезти ее.

Туши положили в телегу, накрыли соломой, Петька бросил сверху рогожу, и Галя кое-как устроилась.

Они медленно-медленно потащились по грязям и хлябям через лес, через убранные поля, и дождик моросил, унылый и бесконечный. Петьку это не смущало, он бодро посвистывал, почмокивал на коня, конь старался изо всех сил, месил, месил копытами черную, вьющуюся змеей дорогу.

— Люблю погонять! — сообщил Петька. — В прошлом году, как «Москвича» не было, я самого Воробьева часто возил! Он как поедет по полям — «Никого, — говорит, — не хочу, пусть меня Петька везет».

— Хвастунишка! — улыбнулась Галя.

— Я не хвастаюсь, спроси кого хочешь. Алексей Дмитрич правильный мужик, я его вот с таких знаю. Бывало, приедет, о том, о сем, а потом: «А ну, запрягай, хлопцы, в кино поедем, в Пахомово». У нас клуба ведь не было. Ну, и едем всей деревней. Весело было. А потом клуб сделали.

— Уж и клуб! — сказала Галя.

— Клуб-то ничего, дела в нем мало. Ничего, все со временем будет. Воробьев все сделает, это такой мужик.

— Ты с матерью живешь?

— Ага. Воробьев говорил: «Ну, Петька, в армии послужишь, придешь — новую избу вам поставим».

— В армии ты пошатаешься по свету, увидишь другое и вернуться не захочешь. Все вы так: из колхоза в армию, из армии на завод — и ищи вас, свищи!

— Ну, я не такой, я не брошу, увидишь. Мать, во-первых, я не брошу, так? От такого председателя, как Воробьев, только дурак разве уйдет, так? Избу строить буду — значит, деревню не брошу, так?..

А потом, какая такая совесть у меня останется, чтобы я Руднево на полном развороте бросил, а? Я приеду, погляжу, что без меня народ поделал, — да я же со стыда удавлюсь, так?

— Оптимист ты, Петька, — сказала Галя. — До чего приятно с тобой говорить! Как на тебя ни посмотри, никогда ты не скучаешь.

— А чего скучать? Раньше в деревне было плохо, и народ скучный

был. А теперь скучать некогда.

Площадь вокруг правления за лето сильно изменилась. Плац был засажен цепочками деревьев, тоненьких, привязанных к палкам, вокруг дома исчезли мусорные кучи, и земля была присыпана шлаком.

У Воробьева в кабинете стоял крик и спор, словно не прекращался с весны.

— Я понимаю, однолетние травы сократить, это я понимаю, но...

— Сколько зерна без гречихи, где план?

— Откуда вы эти площади взяли?

— Э, нет, оставьте семенники!

Воробьев остановился на Гале невидящими глазами, весь взъерошенный и потный. Она постояла немного, вздохнула и села на диван.

— А, девочка-красавица! — сказал, заглядывая, Цугрик. — Ты-то мне и нужна, пойдем ко мне. Это почему вы пробы перестали давать?

«Спрошу про аппараты», — подумала Галя, идя за ним.

— Мы не успеваем, — сказала она, — нам было не до проб.

— Ничего себе ответ, — удивился Цугрик. — Мы вам механизацию, а вы обрадовались, что теперь можно ничего не делать?

— Половину молока мы доим руками.

— Ну и что? — весело сказал Цугрик. — У всех так. Часть руками, а часть аппаратами.

— У всех?!

— Конечно. А ты что же, девочка, думала?

— Скажите, и это что, так будет всегда?

Она спросила таким перепуганным тоном, что Цугрик невольно улыбнулся и сказал мягко, тихо, как по секрету:

— Глупенькая, изловчаться надо. Вот надоест вам доить руками, будете только аппаратами. Многие так и делают. Поняла?

— Тогда же... Какой же будет удой? Коровы испортятся... — пробормотала Галя.

— Да, — авторитетно сказал Цугрик, — молока, конечно, меньше. Ну, додаивать надо. Надо. Додаивайте. Которые коровы не принимают — у вас много таких?

— У меня, например, Слива отдает только рукам. Аппараты ее совсем расстроили. Летом давала двадцать, а теперь восемь...

— Слива? — повторил он, размышляя. — Восемь — это мало. Мало...

— Я уже ничего не могу сделать, молоко просто пропало.

— Ничего, будем делать сортировку скота, — солидно сказал

Цугрик. — А пойдет молодняк — тот сразу привыкает, и все налаживается. Если только новые аппараты не придумают к той поре.

— Зачем же пишут инструкции так глупо... — разочарованно сказала Галя. — Дойка — семь минут, эх!..

— Так оно и есть, — сказал Цугрик. — А потом ручками. Если так уж охота.

Она смотрела на него и не понимала: серьезно он это или шутя, прощупывает ее? Он был ей совершенно непонятен. То, что он предлагал намеками, было прямо кощунственно, но она могла вообразить, что такое на фермах есть.

— Это пустяки, — сказал Цугрик, роясь в бумагах. — Я должен поговорить о другом деле. У нас из рук вон плохо поставлена отчетность. Конечно, сам я делаю все, что могу, но главное осталось за вами. Вот журнал — правда, это для учета осеменения, но вы используйте графы. А как записывать данные, я сейчас покажу. — Он раскрыл журнал и начал с первой страницы. — Здесь пишете кличку коровы, номер по порядку, год рождения, масть, вес, особые приметы, число отелов, число приплода, пол приплода, его масть, вес и приметы. Тут запишете вкратце, куда телята поступали, — остались на ферме, сданы на мясо и прочее, а если околели, тоже отметьте. Сделать это нужно по каждой корове за все прошлые годы.

— У нас есть старые коровы, это нужно поднимать архив, — озадаченно сказала Галя.

— Ничего, вы девочки молодые, энергичные, пороетесь и найдете. Ничего не поделаешь, это для дела. Область требует так. И чтоб без выдумок, смотрите мне, чтоб все было в ажуре. Запомнили, как писать? Здесь — порядковый номер и кличка...

— Порядковый номер и кличка... — стала повторять Галя, запоминая.

— Отлично. Дальше следует такой раздел: в таком-то году от коровы по кличке Красавка надоено столько-то молока. В следующем году от нее же надоено столько-то. Сколько у вас коров?

— Восемьдесят пять.

— По всем восьмидесяти пяти. Затем переносите весь список сюда и уже отмечаете ежедневно, сколько дала Красавка, Слива и так далее в утреннюю дойку, сколько в следующую и так далее, это уже, значит, ежедневно.

— Но мы доим аппаратом несколько коров одну за другой, и молоко смешивается, — пробормотала Галя, начиная чувствовать что-то вроде панического страха.

— Это пустяки. После каждой коровы откройте крышку и слейте в

молокомер.

— И потом мы руками додаиваем!

— И руками тоже — измерьте и приплюсуйте.

— У меня двадцать одна корова. Я с ними так запутываюсь, что додоить иную забываю.

— А вот это плохо, очень плохо! Какая же вы тогда доярка!

Галя на миг вообразила, как она мечется с бумагой от коровы к корове. Аппараты стоят, потому что она меряет. Сорок два раза за дойку меряет молоко. Дойка тянется долгие часы, сведения перепутываются...

— Зачем это? — воскликнула она.

— Научно поставленное животноводство, дорогая. Мы должны иметь четкое представление о делах на ферме. Раскрыл журнал — и все тут как на ладони. Журнала вам хватит примерно на неделю, а в пятницу я вам подошлю еще. Сейчас как раз кончились.

— Может, это и надо, — сказала Галя. — Но тогда надо держать специального учетчика, и то работы ему будет по горло.

— Не горячись, — сказал Цугрик. — Тебя никто не просил брать на себя функции завфермой. Вы сказали, что будете сами, — вот и выполняйте ее работу. Сведения — это святое дело, они помогают...

— Что они там помогают!.. — с сердцем сказала Галя. — Вы напишите в первой графе, что съела корова, а я во второй с закрытыми глазами напишу, сколько она дала молока! От этих журналов прибавится ли хоть литр, скажите?

— Дитя мое, — мягко сказал Цугрик. — Вы можете изворачиваться с учетом как хотите. Все мы знаем, что не прибавится. Но научный метод есть научный метод. Он требует строгого учета и отчета. Молоко, так сказать, в руках божьих: корова может дать, может и не дать. Отчетность же в руках человеческих: тут уж дай — и все! Если греют за молоко, сошлись на корову, на корма. Если греют за отчетность — не на кого сослаться, ты виновата. Поняла? Как хотите управляйтесь, а сведения представляйте и бумаги заполняйте все до единой! — Он спохватился, что напрасно так откровенничает, и мигом свернул на попятный: — Не смейся, это действительно имеет огромное значение. Вот ты Сливу свою как кормишь?

— Как всех, но...

— А когда она молоко зажимает, комбикормцу подсыпашь?

— Немного, только чтобы она успокоилась.

— Ну вот, а мы посмотрим на сведения и определим: эта корова нерентабельна, ее сдать на мясо. Комбикорм нам нужен для тех, кто дает молоко, а не ломается. Бери журнал, и пишите с богом.

Галя повертела в руках журнал и положила его на стол:

— Не будем писать. Сведения эти глупые.

— Но-но, — сказал Цугрик. — Все фермы пишут, и никто не протестовал.

— А мы протестуем! Не будем, не будем!

— Тогда придется поговорить с вами по другой линии, — невозмутимо сказал Цугрик.

— Ну и говорите! — крикнула Галя и выскочила.

За дверью она крепко сжала руки, чтобы успокоиться — так все в ней вдруг заколотилось. «Я становлюсь грубиянкой, как Ольга, — подумала она. — Привыкаю, как видно».

Она поймала Воробьева в момент, когда тот запирает кабинет. Председатель поморщился, но кабинет открыл, и они вошли.

— Дайте нам крышу, — сказала Галя. — Нас заливают.

Председатель устало потер лоб, глаза и вдруг вызверился:

— Идите вы ко всем прабабушкам, только у меня и забот с вашими крышами! Это что, специально за этим приехала?

— Да.

— Убирайся обратно!

Галя встала и пошла к двери.

— Подожди, — окликнул он, посопел и сказал: — Передай Иванову, пусть соломы еще стог подбросит — и перезимуете.

— Не перезимуем, — сказала Галя. — Мы все переболеем и коров угробим. Я буду писать в газету.

У председателя был такой вид, что только пистолет в руки. Он схватил палку и забарабанил ею в стену так, что посыпалась штукатурка.

— Что за шум, что за пожар? — сказал Волков, вбегая. — А! Руднево прибыло! Как там коровки, привыкли?

— Не привыкли, — злобно ответила Галя. — Удой — десять литров.

— М-да... — сказал Волков. — Ну, осень пошла, удой, ясно, ниже... Но вообще... Аппараты хоть не портятся?

— Пока нет, но они же не всё выдаивают!

— Терпите, — сказал Воробьев, уже немного успокоившийся. — Терпите, к весне улучшится. Но аппараты не аппараты, а молоко гоните!

— Кажется, вы только это и умеете: «гоните, гоните!» — сказала Галя раздраженно.

Воробьева это почему-то не задело, он смолчал, а Волков улыбнулся.

— Теперь я все поняла, — сказала Галя. — Когда вы привезли



аппараты, мы чуть не плясали, теперь мы чуть не плачем. Как же это получается?

Председатель и парторг молчали.

— А вы что, против работы? — спросил Волков холодно.

— Или против механизации? — добавил Воробьев.

— Нет, мы не против механизации вообще. Но если бы вы заранее узнали — а вы должны были узнать, это для вас не первый раз, — вы бы не свалили нам все это на голову: нате и давайте! Вы бы объяснили, что надо медленно вводить и не спешить наваливать на нас по семнадцати коров. А теперь у нас уже по двадцати одной корове, и нет уже никакого выхода: к аппаратам они не готовы, а рук у нас только по две! Мы не против работы, Сергей Сергеевич, и не смотрите на меня такими ледяными глазами. Мы работаем, и вы не смеете нас упрекнуть. Но мы за нормальную работу. В городах семичасовой рабочий день, а у нас выходных нет, крутимся с утра до ночи. Если такая работа — мы против.

— Зимой отлежитесь! — жестко сказал Волков. — Мы не даем выходных, потому что у вас неравномерная нагрузка.

— Ладно, Сергей, — мрачно сказал Воробьев. — Зимой им тоже хватит дел. Пожалуй, выделим по фермам подменных доярок и дадим выходные. Составим график отпусков хоть зимой.

— Я работаю без выходных! — воскликнул Волков.

— Это тебе на том свете зачтется, — улыбнулся Воробьев. — На твоей и моей могилах напишут: «Вот лежат двое помешанных, которые работали без выходных».

— Мне надо ехать, — сказала Галя. — Я прошу вас: сделайте крышу.

— Она за крышей приехала, — сказал Воробьев. — Может, в самом деле сделаем? А то у них там действительно гора соломы — плюнь да разотри.

— Ну, подумай, — сказал Волков.

Галя испуганно посмотрела на обоих. Прошибло их или они просто ломаются?

— Может, еще претензии есть? — спросил Воробьев.

— Клуб у нас, — сказала Галя, чувствуя себя, как загипнотизированная, — клуб... Живем, как на острове... Хорошо бы телевизор...

— Ага, телевизор?

— Да.

— Телевизор? Ну-ну! Еще что-нибудь?

— Больше ничего, — прошептала она.

Оба руководителя сидели молча. Галя встала, сказала «до свидания» и осторожно вышла, как пьяная.

Только на крыльце она пришла в себя, увидев Петьку, который, видно, долго ее дожидался. Она бросилась к нему, прыгнула в телегу, крикнула:

— Гони!

Телега уже отъехала, когда на крыльцо выскочил Воробьев без шапки.

— Эй, Макарова! — закричал он. — Ты почему отказалась представлять отчетность? Вернись сейчас же, журнал возьми!

— А идите вы ко всем прабабушкам! — воскликнула Галя и упала в сено.

У коровника стоял грузовой автомобиль и копошились люди. Галя удивилась: никакой машины сегодня не ждали.

Грузовик подъехал необычно — со стороны пруда, под обрывчик, продрав скатами колею в траве, видно, изрядно побуксовав. Задний борт его был откинут, к обрывчику проложены доски, и Тася Чирьева тащила на них упирающуюся корову. Галя всмотрелась и совсем ничего не поняла: тащили Сливу.

Она спрыгнула с телеги и побежала.

— На, сама волоки! — обрадовалась Тася. — Не идет, вредная. Отжилась твоя Слива, на бойню сдают.

— Как?.. — оторопела Галя.

— А так, молока не дает — ну, на мясо.

— Кто распорядился?

— Начальство, кто ж.

— Иванов?

— Да.

— Где он?

— В коровнике — греется, паразит, а ты тащи.

Галя бросилась в коровник. Иванов подкладывал щепочки в топку котла.

— Зачем вы Сливу губите? — жалобно выкрикнула Галя.

— А зачем она? — Иванов удивленно посмотрел на нее.

— Она хорошая корова.

— Тьфу ты, напугала! Это нас не касается. Цугрик позвонил и велел сдать, а тут машина подвернулась. Ты там у себя запиши: как непригодную к молочному производству.

Он отвернулся и принялся опять любовно подкладывать щепочки в огонь.

Галя все поняла. Это она сама, своим языком предала Сливу, и этот бюрократ, обозленный за отчетность, решил ее так пакостно уколоть. Может, и не думал колоть, просто он должен был выбраковывать коров на мясо, и вот он выбраковал с ее слов.

— Не отдавайте Сливу, я прошу вас! — стала она молить Иванова. — Это очень молочная, первоклассная корова.

— Слушай, — сказал Иванов. — Ну, как на вас всех угодить? Уж так

стараясь, чтобы и волки сыты и овцы целы... Кто для меня важнее — ты или Цугрик? Да плюнь ты на эту Сливу — подумаешь, молочная!

— Я Сливу не отдам! — быстро сказала Галя и выбежала вон.

— Эй, эй! — закричал Иванов, высовывая нос из пристройки. — Акт составлен. Ты знаешь, что за самоуправство полагается?

— Не отдам, — чуть не со слезами сказала Галя, обхватывая корову за шею и заворачивая ее в коровник. — Как вы можете? Все понимаете — и так можете? Это же разбой! Не отдам! Ее испугали аппараты, она же чувствительная, как человек, она отойдет!..

— Чувствительная! — захохотал Иванов. — А читать она у тебя не умеет? Может, в школу отдадим? А ну, отдай корову, не дурачься, мне некогда с вами заниматься глупостями.

Галя уцепилась за Сливу и приросла к ней. Иванов кликнул шофера.

— Отпусти, — сказал шофер. — Добром непустишь, силой оторвем.

— Попробуйте, — сказала Галя.

— Берите корову, а я ее придержу, — сказал шофер, смеясь.

Он схватил Галю и потащил от коровы. Галя извивалась, била его каблуками, но он только посмеивался:

— Ух, хороша, злющая доярочка! Где ты живешь, я тебя украду.

Галя извернулась и вцепилась зубами в его руку. Он охнул и выпустил ее.

— Ого, гадюка...

Он уже не смеялся. Он наступал, здоровенный, грозный, разъяренный от боли.

— Бей, — сказала Галя, изо всех сил цепляясь за Сливу.

Шофер свирепо посмотрел на нее, опомнился и, плюнув, отошел.

— У вас тигры, а не доярки, — сказал он. — Ну вас! Так все и расскажу Цугрику, пусть сам приезжает.

Когда мотор его машины затих вдали, Галя выпустила Сливу и поверила в свою победу. Она не знала, что теперь будет.

Иванов побранился, покружил вокруг Гали и ушел. Ему, собственно, было все равно.

Тасю вся история очень позабавила.

— Молодец! — сказала она. — Пусть он сам, боров жирный, протрясется сюда, а то привык браковать, не глядя. Хорошо ты им нос утерла! Молодчина!

Галю долго еще трясло. Она сидела возле Сливы, без меры давала ей комбикорм, вздрагивала при малейшем звуке, ожидая гула грузовика. Но

грузовика все не было.

В дороге Галя промокла, сейчас ее брал озноб, но она боялась отлучиться хоть на полчаса.

Так она просидела неизвестно сколько времени, когда явился Костя убирать навоз.

— Караулишь? — сказал он. — Вся деревня уже знает, как ты воюешь. Давай, давай, орден получишь!..

— А ты не издевайся, — попросила Галя.

Но он был в таком настроении, что ему хотелось издеваться.

— Дурочка ты, — сказал он. — За что ты воюешь? С кем ты воюешь? Приедет Цугрик, ну и что ты докажешь?

Галя повернулась к нему спиной. Его это уязвило, он стал смеяться:

— Хорошее жаркое из Сливы получится, жирное.

И он смеялся, находя в этом большое удовольствие: травить.

Она не знала, куда спрятаться. Едва дождалась, когда он убрал навоз и ушел.

Галя пошла в пристройку, раздула в топке огонь, подложила щепок. Она дрожала и была голодна.

Щепки горели, а она не ощущала тепла и совала, совала руки в огонь, пока не обожгла их искрами.

Цугрик не явился до вечера. Скорее всего ему было лень, а может, он по опыту знал, какое это хлопотное дело — связываться с доярками.

Галя с пятого на десятое подоила своих коров. У нее разболелась голова, просто разламывало виски. Никогда она не сливала так мало молока, как в этот раз.

Потом она долго, очень долго брела в темноте через плотину, мимо церкви, и ее шатало, как пьяную, она все время напряженно думала, куда ступить.

Придя, она не стала ужинать, а одетая завалилась на свой соломенный матрац — и поплыла в душной, горячей тьме без огоньков, без проблесков. Очень смутно слышала, как Пуговкина шаркает, бубнит, трогает ее лоб, кладет какую-то мокрую, со стекающими каплями тряпицу.

— Сливу не отдавайте, — сказала Галя.

— Что, что? — пробубнила Пуговкина.

— Сливу не отдавайте, — сказала Галя и провалилась в темноту, как в яму.

## **Четвертая часть**

За окном виднелся огород с сухими помидорными стеблями, окруженный кустами смородины и голыми рябинами. Покосившийся, гнилой заборчик отделял его от улицы, по которой редко-редко кто проходил, большей частью знакомый.

На рябинах бойко копошились синицы, а в воздухе летали белые мухи. Шла зима.

В доме было сухо и жарко, но окно постоянно запотевало, и время от времени лежавшая на подоконнике тряпка набухала. С утра непрерывно топилась печь, полы были застланы мешками, рогожами, всяким тряпьем, какое только могла достать Пуговкина, Галя лежала, закутанная в одеяла и тулупы, пропахшие уксусом — Пуговкина вытирала ее, — то засыпала, то думала в полудремоте, смотрела сквозь окно на огород и в сизое, с низкими тучами небо.

Глотать ей было больно: началась ангина и, кажется, с двух сторон. Еще в городе ангина была ее проклятием: не проходило зимы, чтобы она не укладывалась в постель раз, а то и два.

Медсестра оставила стрептоцид и прочее, но Пуговкина засунула таблетки в шкатулку и сама готовила какое-то горькое, пахнущее сеном зелье, которое Галя должна была пить. Она знала, что зелье, как и стрептоцид, все равно раньше двух недель ее не подымет, и, не сопротивляясь, пила.

Ее болезнь взбудоражила доярок.

Ольга пришла, принесла горшок с картошкой — это тронуло Галю, — заставила Пуговкину сварить картошку, и Галя, накрывшись платком, сидела и дышала ее паром.

Тася дважды в день носила ей парное молоко с фермы.

Пришла тетушка Аня с узелком яблок из своего сада, долго судачила с Пуговкиной и объявила, что возвращается на ферму подменной дояркой — четыре раза в неделю, так что остальным будут выходные. Это было уже что-то новое.

Даже Иванов счел своим долгом навестить и принес всем на удивление пушистого котенка.

— Пуцай растет, — деловито сказал, — а то у вас мыши.

Галя попросила его принести книг по животноводству, и он приволок целую связку, у многих страницы были слипшиеся от долгого

неупотребления.

Учебники были интересны, полны важнейших сведений, которых ни Галя, ни кто другой на ферме не знали. Зато брошюры были полны чепухи вплоть до анекдотов.

Автор одной из них серьезно сообщал, что какая-то доярка доит молодых телок. Хотя они ни разу не телились, но после упорных трудов, массирования вымени и прочего они начали давать немного желтого, с особым привкусом молока.

Ольга и Тася много хохотали и острили по этому поводу: они не сомневались, что от телок можно добиться молока, а если их еще помучить, они, может, станут давать и простоквашу, но не проще ли сводить их к быку?

Пуговкина пришла с тяжелой новостью: умерла баба Марья. Никто толком и не понял отчего — «от болести», да и все! Приехала невестка из Рязани, голосит над ней, а дьячок из Дубинки читает молитвы. Гале хотелось пойти попрощаться с бабой Марьей. Она не могла забыть, как та пела про солдатику, который «всех моложе, шинель на грудь его легла». Наверное, баба Марья была все-таки хорошим человеком, но слишком уж пришибленным жизнью. Отмолчала свое и теперь уж замолчала навсегда.

Люсю Ряхину было слышно еще от калитки. Она ворвалась в избу, холодная, пропахшая морозом, сорвав платок, кинулась трясти Галю.

— Машины с шифером пришли, крышу на коровнике строят!

Галя смотрела на нее, не веря.

— Бабы сверху солому сбрасывают, а там уже не солома — сплошной перегной. Плотники приехали...

Насилу Галя поверила этой удивительной новости. Это было совершенно непостижимо; надо было удостовериться собственными глазами. Та самая крыша, о которой она долбила уши Иванову, которой грозила Воробьеву, из-за которой в общем и слегла!..

Она заставила Люсю повторить самым подробным образом: какие машины, сколько шифера, какие плотники, откуда лес и куда сбросили гнилую солому, а сама думала: «Ничего без боя в этой жизни не дается, за каждую крышу, каждый гвоздь, оказывается, надо воевать, шаг за шагом, шаг за шагом, отмечая все эти простые победы и удерживая их за собой, как уже удержаны котел с горячей водой, вазелин, красный уголок, выходные дни и так далее и так далее...»

У нее уже в голове намечался стратегический план на будущее, и вместе с Люсей они наметили программу-минимум, обсуждая которую



вскрикивали и визжали, как дети. Планы были настолько увлекательны и грандиозны по сравнению с крышей, что было от чего визжать:

- 1) Автоматические поилки.
- 2) Синтетическая мочеви́на.
- 3) Добить Воробьева насчет отпусков.
- 4) Начало борьбы за содержание без привязи.
- 5) Доильная площадка «елочка».

У старухи был свой взгляд на человеческие болезни и медицину вообще.

Болезнь происходила потому, что человек ходил «раздевшись», этим воспользовался «враг» и залез внутрь. «Враг» этот очень боялся тепла и совсем не боялся таблеток. Чтобы выкурить его, следовало потеть — это ему было пуще горькой редьки.

Вдоволь напоив Галю зельем, она подняла ее с постели и отправила на печь. Там, завернув в простыню, она закутала ее, словно кокон, ватным одеялом, предварительно нагретым, как сковорода, сверху надела тулуп, застегнув на все крючки, и повязала теплым платком.

Сидя на темной печи в таком состоянии, Галя посмеивалась, но потом ей стало так жарко, что в ней поднялся животный ужас. Она не могла пошевелинуть ни рукой, ни ногой, она задыхалась. Пуговкина же топала по избе, время от времени заглядывая и любуясь своим злодейством.

— Уже, — говорила Галя, — уже!

— Сиди, сиди...

Прошло неизвестно сколько времени. Галя тонула в поту, она крутила головой, чтобы хоть сбросить платок, но узлы были завязаны на совесть, и безжалостная старуха только ругалась, вытирая пот с Галиных бровей. Дышать было нечем: не воздух — сплошной раскаленный жар. У Гали временами затуманивалось сознание, и она начинала смутно видеть то автопоилку, то синтетическую мочеви́ну.

— Кончаюсь, — стонала она, просыпаясь. — Кузьминична, пощадите, вас же за меня судить будут...

Ее стало клонить в сон, она прислонила лоб к стенке и забылась неизвестно на сколько в жарком сне-полубреду. Она карабкалась на крутую гору, ей становилось все тяжелее, силы иссякали с каждым шагом, а потом кончился этот подъем, она почувствовала свободу и облегчение, расправила затекшие руки и ноги. Пуговкина ее переодевала, ворочала, как куклу, а Галя только размеренно улыбалась и пыталась свернуться в клубок. Пуговкина сердилась, заставляла ее сидеть и пить теплое молоко из чашки,

а пенки в нем цеплялись на губы. Гале было смешно, она дурачилась, пока старуха не стала хлопать ее по рукам.

Она выпила молоко с закрытыми глазами — так сильно хотелось спать.

— Глотка болит? — спрашивала старуха.

— Нет, — говорила Галя, глотая и проверяя, — нет.

— Слава богу, враг ушел!

Как заснула, она не помнила. Лишь среди ночи проснулась от непонятного внутреннего толчка и села. Она находилась на той же печи под ватным одеялом, но ей не было жарко, а только тепло, и тело было сухое, какое-то звенящее.

Она отодвинула занавеску — хлынул удивительно приятный свежий и вкусный воздух.

«Глотка болит?!» — подумала она, проглотала несколько раз так и этак — горло не болело. Она не могла поверить, проверяла, проверяла — горло не болело. Вообще она была здорова. Она не могла объяснить эту уверенность, но уверенность была настоящей, радостной.

У нее подымалось в душе что-то большое, светлое оттого, что выздоровела, от сознания, что добилась все-таки для коровника крыши, что ее не забывали девки и что отныне навсегда будут выходные!..

Она подумала, что, если хочешь видеть людей хорошими, пожалуй, прежде всего относись к ним сам хорошо.

В человеке удивительно много граней: за какую грань его потрогай, таким он тебе сразу и покажется. В одном граней добрых много, в другом их меньше. Но даже самый положительный человек становится скотиной или забитой жертвой, если с ним вечно обращаться по-скотски, и самый отъявленный негодяй становится лучше, если к нему отношение человеческое.

Поэтому люди во многом такие, какими хотим мы их видеть. В окружающих нас раскрывается то, что мы сами в них пробуждаем. И с человеком, право же, нужно обращаться душевно, искренне и бережно — и, право же, ему нужно больше верить.

Мир очень нуждается в доброте.

Варварский способ лечения Пуговкиной привел к тому, что Галя встала с постели через день.

Она закуталась, надела валенки, потому что на дворе выпал глубокий снег. Она торопливо кончала одеваться, когда за окнами услышала причитания и пение: несли бабу Марью.

Она выскочила на крыльцо.

Процессия была небольшая, почти сплошь старухи да еще вездесущие мальчишки. Старухи были в черных платках, со строгими, отрешенными лицами.

Скрипел под валенками снег. Шли и шли косолапые валенки. Невестка покойницы неестественно голосила — почти пела странные, неуместные слова:

— Я ли тебя не ле-ле-яла-а? Я ли за тобой не вхажо-ва-ла-а?..

Старый, очень старый поп, небрежно поддерживаемый дьячком, семенил в тяжелой ризе, время от времени что-то неразборчиво бормоча.

Процессия бесприютно остановилась у церкви-зернохранилища, и, так как войти было нельзя, панихиду стали павить так, прямо под стенами. Все это было так жалко, убого, неестественно...

Когда мужики сняли с плеч гроб и поставили на табуретку, которую специально нес мальчишка, Галя смогла разглядеть бабу Марью. Покойница была по самый подбородок покрыта тюлевым покрывалом с кровати, вокруг головы лежали дубовые веточки с сухими листьями, а на лбу — какая-то бумажная лента с церковными письменами. Лицо было строгое, пугающее, неприятное.

Процессия медленно потащилась через плотину, мимо коровника, откуда высыпали доярки и смотрели, вытирая глаза платками.

Галя не пошла дальше, только посмотрела вслед.

Коровник пахнул на нее таким теплым, живым духом, что у нее вдруг екнуло что-то внутри. Навозный дух показался ей приятным, и вообще все здесь было свое, близкое, так что она горько усмехнулась. Ближе ничего не было.

Коровы тянулись к ней мордами, ее трогало это. Слива косилась уже издали выпученным глазом, вытягивая цепь.

— Ну-у! — кричала Ольга. — Потопчись у ми-не!..

Они искренне обрадовались, что Галя выздоровела, рассказали нехитрые новости, а Галя смотрела на них, и ей хотелось всех поцеловать. Она переводила глаза с одной доярки на другую, плохо слушала их, а все не могла насмотреться. Они были хорошие, были добрее, чем кто-либо из прежних ее друзей, и она озадаченно поняла, что уже давно любит всех и любит свою ферму.

В красном уголке на столе лежал толстый журнал, в который Люся задумчиво вписывала какие-то цифры.

Галя пригляделась. Это был тот самый журнал, который пытался всучить ей Цугрик.

— Прислал, паразит, — сказала Люся. — Передал, что всю ферму разгонит, если не заполним.

— Как же вы управляетесь? — ахнула Галя.

— Управляемся, дело плевое, — беззаботно сказала Люся, продолжая быстро работать.

— Меряете все. Архивы подымали?

— Ты что, сумасшедшая? Сели, сочинили, а теперь, когда делать нечего, сидим себе и пишем, что взбредет. Главное, чтобы итог сходился.

— За очковтирательство он еще больше взбеленится...

— Так он сам посоветовал.

— Сам?

— Не нам. В Дубинке пишут; он посоветовал, девки хохотали — понравилось. Такую науку развели!

— Бессмыслица какая-то...

— Это очень со смыслом, — возразила Люся. — Дела идут, контора пишет, с каждой фермы по такому журналу в неделю — да у Цугрика стол провалится от дел! Все пишут: в телятнике пишут, в свинарнике пишут, Иванов пишет, Воробьев пишет. А уж там дальше, верно, полки считак сидят — это уж так положено: один работает, двое считают, ведро молока — два листа бумаги... Тебе сколько на Сливу записать?

— Сколько она дает?

— Совсем плохо — пожалуй, запускать пора. А я ей пишу по десять литров, чтоб он, гад, не прицепился. Хочешь, напишу пуд?

Галя взяла журнал, полистала: цифры были убедительны, даже не верилось, что они — дитя Люськиных фантазий.

Хорошее настроение пропадало, и никого уже не хотелось целовать.

Она вдруг решительно выбежала, открыла дверь в котельную, не слушая испуганного Люськиного «куда?», сунула журнал в топку и

поленом еще подвинула на самые углы. Он почернел по краям, ярко вспыхнул. Люся вбежала, заглянула в топку — села на пол и принялась хохотать.

— Вот, наконец, польза с него будет!.. Жалко. Я так забавлялась, пока тебя не было.

Галя смотрела в огонь, и у нее быстрее стучало сердце, в ней накапливалась ненависть, она должна была эту ненависть вылить, она закидала поленьями остатки журнала, забила ими топку доверху, хлопнула дверью и энергично пошла.

Потом она поняла, что идет в контору.

Иванов сидел в конторе в полном одиночестве, и по тому, как он старательно-вежливо приветствовал ее, подал табуретку, пытался помочь снять полушубок, но неожиданно отлетел в сторону, стукнувшись о стенку, Галя поняла, что он здорово пьян.

— Что наша жизнь — игра, — хитро сказал он, сосредоточенно принимая вертикальное положение.

Галя подошла к телефону и стала крутить ручку, вызывая Пахомово.

— Чудо техники, — объяснил Иванов, хватаясь за аппарат; он был, что называется, «ни в дугу», его так и носило по комнате.

— Спать бы шел, — с досадой посоветовала Галя.

— Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать, — хитро сказал Иванов.

Она с удивлением покосилась на него. В это время правление в Пахомове ответило, и Галя закричала в трубку:

— Передайте Воробьеву и Цугрику, чтобы приезжали разгонять Рудневскую ферму, мы сожгли учетный журнал и заполнять его на веки веков отказываемся!

Из-за помех связи блеск этой фразы, потерявшись в контактах, не дошел до того конца, и там удивленно завопили:

— Кого разгонять?.. Кого?..

Пришлось раз пять повторить по частям, но это уже было не то, и фразу оценил только Иванов, который, икнув, неожиданно восхищенно сказал:

— Правильно, разбойница!

Галя была уже далеко от конторы, когда услышала позади крики. Иванов, без шапки, в распахнутом пальто, гнался за ней. Она подумала, что что-то передали по телефону, насторожилась, остановилась.

Но Иванов, запыхавшись, добежал и восторженно предложил:

— Хочешь, я тебе свою жизнь расскажу?

Она чуть не плюнула.

— ШАПКА-ТО ТВОЯ ГДЕ? — с жалостью сказала она.

— ШАПКУ Я ЗАБЫЛ, — доверительно сказал Иванов. — Я ее, подлую, в зернохранилище забыл. А мою жизнь ты выслушать должна.

— Идите обратно! — толкала Галя. — Не нужна мне ваша жизнь.

— До зернохранилища... шапку... — лепетал он, двигаясь вперед.

Она поневоле пошла рядом, потому что он почти повис на ней, от него несло водкой, он был ей противен и жалок.

Зима закрыла разные прорехи на земле. С деревьев при малейшем ветре обрушивался снег, а освободившаяся ветка долго качалась и кивала. Пруды покрылись зеленым тугим льдом, и крохотные лягушки, наверное, где-то вмерзли в него до весны. К пруду скатывались, словно клубы белого дыма, купы кустарников, и колокольня по сравнению с ними казалась грязненькой, ободранной.

Форсируя обледеневшую плотину, Иванов бормотал и толкался, а Галя вдруг вспомнила, как она брела тут в ту отчаянную ночь, когда погас свет, и была тьма с дождем, и она, разнесчастная, не знала, куда ступить.

«Раз в природе устроилось не так, как надо нам, — почти весело подумала она, — значит, действительно надо воевать. Не хочу бежать в беличьем колесе, хочу идти по земле интересно, много узнать, перечувствовать и сотворить. Пока свободой горим, пока сердца для чести живы...»

— Нет, ты не права, я верно говорю, — сказал Иванов. — Скажи любому дураку, и он меня поймет.

Она удивленно заметила, что он уже давно что-то бормочет и доказывает ей.

Он был такой беспомощный, как вытасченный из воды щенок, в глазах его кричала невысказанная мука алкоголика. И она подумала, что, если его отпустить в зернохранилище одного, он еще там замерзнет, заснув.

Они открыли тяжелый замок на обитых проржавевшим железом дверях. За ними были другие двери — более позднего происхождения. Иванов как вошел, так его и понесло. И не успела Галя притворить двери, а он уже шатался и вскидывался, как деревянный, там, посреди церкви, в косых туманных полосах света, падавшего из узких окон купольного барабана.

В церкви было мертвяще холодно. Станным контрастом этому холоду были высокие холмы золотого зерна, насыпанного в алтарь и приделы, как в закрома. Частью оно было покрыто брезентами и рогожами.

С облупленных стен и столбов строго и пугающе смотрели святые, вздымая руки со сложенными перстами; их глаза были так грозно-печальны, что становилось немного не по себе.

Картина страшного суда над входом дополняла гнетущее настроение. А с центра главного свода смотрел глаз, окруженный сиянием, большой

серьезный глаз, у нижнего века которого прикреплялась цепь люстры, которая свисала, длинная и бесполезная, так как люстры не было.

Когда-то для укрепления этой очень старой церкви между столбами вставили в качестве распорок железные тавровые балки. Галя сразу поняла, что пленных красноармейцев вешали именно на этих балках — больше не на чем. Никто этого не видел. Когда немцы ушли, у мертвых красноармейцев оказались отрезаны носы, уши, они были исколоты тесаками...

Чего от них добивались, что они не сказали? Даже фамилии их остались неизвестны.

На алтарной куче зерна валялась шапка Иванова — и рядом с полдюжины бутылок: верно, из-под самогона. Иванов как наклонился за шапкой — так и упал, повалился на шпалу, которой огораживалось зерно, и глубоко задумался, обхватив голову руками, а может, просто впал в беспамятство.

Галя тронула его.

— Идем, горемычный, домой отведу.

— Нет! — воскликнул он. — Всю жизнь угождать каждому... Всю жизнь, это ж страшно!

Галя отшатнулась.

— Кто я? — жалобно, с тоской спросил он. — Пешка, флюгер, тридцать лет носом тяну: куды дует, куды дует? Ты думаешь, что вот есть Иванов? Нет. Иванова нет!

— Пойдем домой, — повторила она нерешительно.

— Иванова нет! — воскликнул он. — Есть статуя человека, потому что когда-то был, да весь вышел. Иванов с молоком всосал: не при против силы. Рука кормит, рука казнит. Ночью не спал, думал: «Как ей угодить? Куды дует? Думаешь, мне надо, чтоб у вас были выходные? Думаешь, мне надо, чтоб вы жили? Моя да-рагая шкура мне надо — вот что! Стукни меня по голове, сделай милость, я жить не хочу».

Галя испуганно смотрела на него. Он был странен на этой куче золотого зерна, как какой-то уродливый паук, в окружении самогонных бутылок, серый, обтрепанный.

— Я всех в бараний рог гнул, — сообщил Иванов. — Я председателем был, а ты что, не знала? Думаешь, они что по трудодням получали? Шиш с маслом они получали. Шиш!..

Он попытался скрутить шиш, корявые пальцы не слушались. Он на минуту занялся этим делом и в конце концов справился с задачей, высоко поднял руку, богохульно грозя святым:



— Вот что они получали. Потому что, если я с них не сдеру, с меня голову сдерут. Цифру гнал... Ты журнал сожгла, а куды моя жизнь пошла? Козлу под хвост!..

— Идем ради бога, — потащила Галя, боясь, как бы он не впал в истерику. — Поднимайся, держись на ногах.

— А ты журнал сожгла! — горько, как ребенок, зарыдал Иванов.

Она пошарила в карманах — нечем было даже утереть его.

За окнами купола чирикали воробьи. Кусок краски полетел сверху, кувыркаясь, как мотылек, и упал на пол, рассыпавшись. Каменные плиты пола были усеяны такими растоптанными кусочками.

Галя надела на Иванова шапку, утерла рукавом лицо, подняла под мышки. Толкая его, как «статуй», она повела его прочь, нашла в кармане ключи и заперла зернохранилище.

Изба оказалась заперта. Пуговкина, очевидно, еще не вернулась с похорон. Галя достала ключ, вошла в обдавшую ее душным теплом избу и, едва сняв полушубок, без сил повалилась на кровать. Она устала так, словно взошла на высокую гору, особенно вымотала война с Ивановым, которого тащила, тащила домой, и конца этому не было.

Скрипнула дверь, кто-то на пороге усердно отряхивал ноги и сопел. Она подумала, что вернулась Пуговкина, и не выглядывала.

Отодвинув занавеску, в ее закуток заглянул Костя.

— Не ждала? — сказал он, усаживаясь на табуретку.

— Нет, — созналась Галя.

Она смотрела на него новыми глазами и не понимала, что такое могло ей когда-то нравиться в нем. Сидел обыкновенный парняга, а на лице ничего светлого, ничего умного.

— Я мириться пришел, — сказал он. — По этому случаю выпил. Знаю, что свинство, а выпил. Потому что иначе не пошел бы, боюсь тебя, и ты меня прости. Ты не такая, как все, ты необыкновенная. Никого никогда не боялся, а тебя боюсь. Что ты на это скажешь?

— Почему боишься? — спросила Галя.

— Я нехорошо с тобой говорил. Нехорошо поступал... Я ничего не понимаю... Кто ты есть, если разобраться? Обыкновенная себе доярка, как все. Подумаешь, в городе пожила! Не таких мы видели... А вот пришел я к тебе и говорю: ты не такая, как все.

— Что тебе надо? — спросила Галя.

— Говорю тебе, мириться пришел. Насовсем мириться.

— Зачем?

— Места себе не нахожу. Как увидел тебя сегодня у коровника, так за водкой сразу побежал. Закрою глаза — тебя вижу, какая ты умница, как целовал тебя, обнимал, как ты любила сидеть, прислонившись головой. Правда, ты любила меня?

— Да, — сказала Галя.

— А сейчас?

— А сейчас уже нет.

— Я тебя люблю.

— Так быстро?

— Правда! — воскликнул он, поднимаясь и немного пошатываясь. — Ты же меня знаешь, я бы не пришел по пустяку. Я хожу и думаю, сплю — во сне вижу. Наваждение какое-то! Давай мириться.

— Ладно уж, пойди проспись сначала, — сказала Галя, немного испугавшись. — Выпил двести грамм — и любовь вспыхнула.

— Ты что, смеешься? — спросил он. — Я же правду говорю.

— Какое мне дело... — с горечью сказала она. — Правда, лучше бы ты ушел, и поскорее.

— Иди ко мне.

— Ни за что! — воскликнула она.

Он потянулся к ней. Но он стал ей противен. Она отпрыгнула, скользнув в большую комнату. Он пошел за ней.

— Может, ты кого другого нашла? Так то и скажи.

— Нет, и искать не буду.

— Иди ко мне.

— Знаешь что, по-хорошему уходи-ка, — сказала Галя.

— Ты со мной так не обращайся, а то прирежу.

— Да? Прирежь!

— За это я тебя и люблю... — пробормотал он. — Забыть тебя я не смогу. Я пойду просплюсь, а потом приду — идет?

— Нет, — сказала она. — Больше не приходи. Все давно кончено. Здороваться я с тобой буду, но больше ничего, потому что ты мне надоел, страшно надоел.

— Ага, моими же словами меня бьешь? Мстишь, значит?

— Не мщу. Сам очень много старался, чтобы мне надоест. Так и вышло, я даже не могу поверить, что ты меня любил. Ты любишь себя — люби на здоровье! Ты ничего в жизни не хочешь — не хоти на здоровье! Немедленно уходи, я закричу!

— Я тетке Мотьке два рубля дал, чтоб гуляла на поминках и до вечера домой не шла... — признался он. — Может, ты меня все же оставишь? Я

хоть у тебя просплюсь. Честно...

— Вон, вон! — сказала Галя, сжимая руки и чувствуя, что ее уже начинает мутить.

Костя мрачно посмотрел на нее, почесал щеку.

— Пропали два рубля... — пробормотал он, повернулся и, пошатываясь, побрел вон.

Галя сейчас же накинула на дверь крючок, посмотрела в окно, как он рое валенками сугробы, и сжала руками виски. Мысли рассыпались. Она не находила себе места. Ей стало плохо-плохо.

Она решила умыться, набрала в кружку теплой воды, намылила руки — и вдруг впервые заметила, какие они красные, корявые. Ногти были короткие, на суставах появились какие-то морщины, запястья распухшие. Так быстро? Руки доярки.

В середине зимы телились многие коровы.

Были бессонные ночи, тревожнения, ферму колотило, иногда она была похожа на ветлечебницу.

Начиная снова доиться, коровы уже не так пугались аппаратов, да и молоко распирало им вымя, поневоле они отдавали. Доярки уже привыкли додаивать руками, и на этой ферме не произошло понижения удоев, как на других, следовавших негласной системе Цугрика.

Если бы с самого начала знать, что аппараты — это только помощники, а не заменители рук, никаких бы недоразумений и раньше не произошло. Инструкции сработали, как американская реклама: на словах златые горы, а на деле так себе. Ну, и ждали златых гор.

Работали с такой же нагрузкой, как прежде, но благодаря аппаратам обслуживали не двенадцать, а двадцать коров — вот и все.

Галя вычеркнула из своей программы-минимум доильную площадку «елочка», потому что она сводилась к тому, что коровы расставлялись более удобным способом — и это все. Нет, не в расстановках дело, чувствовала она, а в создании такого аппарата, который выдаивает до конца.

Отелилась и Слива, последняя из Галиной группы. И с этого момента Галя свету невзвидела.

Молока у Сливы было сказочно много, аппаратам она отдавала едва третью часть. И, послушав опытных старух, Галя принялась доить Сливу не три, а шесть раз в день. Придя на работу, она прежде всего начинала доить Сливу, а уходя через два-три часа, уже доила снова.

Она гоняла своих коров гулять по берегу пруда, и Сливу водила отдельно еще, на веревке, и разговаривала с ней. Корова настораживала уши, слушала. Она так привязалась к Гале, что в выходные дни тетушка Аня прибегала и просила: «Пойди успокой ее, зовет тебя, мочи нет!»

После казни учетного журнала Иванов страшно зауважал Галю. Иногда нелегкая приносила его в коровник, он сиротливо путался меж хвостов, охотно топил котел. И стоило ему пожаловаться, что сено кончается, — моментально прибывали возы. Доярки, правда, подозревали, что кто-то при этом страдал, но думать об этом не хотелось.

Иванов воспылал любовью и к Сливе. Подолгу и задумчиво он смотрел, как Галя наполняет ее молоком ведро за ведром. Слива стала

давать в день двадцать пять литров, а то и больше, и о ней пошли слухи. Таких коров в Рудневе спокон веку не было, и только один глухой дед уверял, что у покойного барина до революции были две коровки, дававшие по три ведра молока, но ему не верили.

Однажды Воробьев приехал лично посмотреть Сливу.

Галя отнеслась к нему холодно, велела стоять далеко и не курить. Он слушался.

Сначала, как обычно, Галя надела стаканы, и за смотровым стеклом понеслась сплошная белая масса. Казалось, аппарат захлебывается от молока, даже звук его стал глухой.

Воробьев долго и терпеливо ждал до конца, пока Галя додаивала руками, потом озадаченно почесал затылок.

— Значит, Цугрик брал ее напрасно?

— Напрасно.

— Это ж с ума сойти, это ж корова высшего класса!

Галя пожала плечами и понесла молоко. Он поплелся за ней в подсобку, сел на край закрома.

— Я позвоню в газету, чтобы прислали человека, расскажи ему, как это делается.

— Алексей Дмитриевич, — сказала Галя. — Мне нечего рассказывать, в учебниках все написано, и всем известно, просто нужно к корове относиться по-человечески.

— Вот это ты и скажи... — пробормотал Воробьев. — Как к корове относиться по-человечески. Многим полезно научиться.

— Многим надо сначала к человеку научиться относиться по-человечески, — заметила Галя.

Она пошла чистить коров, но он пришел через минуту и сел на кормушку между Пташкой и Амбой. Ее раздражало то, что он пугает коров, но она смолчала.

— Не сердись, — уныло сказал он. — Вот если бы ты побыла в моей шкуре... Вы думаете: председатель растакой, председатель рассякой, председатель не заботится, а я уж забыл, когда в кино ходил... Это же черт знает, сколько надо в наших деревнях перевернуть, чтоб выйти в какие-то люди!.. Я бывал с тобой груб, извини. Со всяким народом имеешь дело, тут хоть будь золотой человек — в стертый медяк превратишься. И врут тебе, и стелются, и душу выкладывают со слезами — голова лопнет! А порядок сам не придет — каждую дрянь с боем берешь: от одного урываешь, другое латаешь.

— Бедный, бедный председатель, — вздохнула Галя.

Он засопел.

— Зачем ты журнал сожгла? Цугрик у меня на диване в истерике бился.

— На диване? — заинтересованно спросила Галя.

Ей надоело, что он курит коровам в нос, она бросила чистку и пошла топить котел. Он угрюмо потопал за ней, и так она увела его от коров.

— Слива телочку принесла? — спросил он, садясь на поленницу дров.

— Телочку.

— Телочку эту, — кашлянул он, — беречь надо. Проследи, я тебя очень прошу, пожалуйста. Дело не в том, что Слива одна бидон молока дает, а надо выводить новое поколение, чтоб оно с самого начала знало одни аппараты и чтобы все коровы были, как Слива, — тогда и мы до какого-то добра придем...

— Отпуска вы нам до сих пор не составили, — сказала Галя.

— Тьфу ты! — рассердился он. — Сказал — будут, ну и будут! Ты ей об одном, она о другом! Настырная.

— Я не настырная.

— Хорошо — настойчивая, — развел он руками. — Устраивает? Слушай, мы будем ругаться с тобой до скончания веков. Наверное, наша планида с тобой — ругаться. Но давай не ссориться, а?

— Скажите прямо: чего вы от меня хотите? — улыбнувшись, сказала Галя.

Он грустно усмехнулся:

— Ничего. От тебя я ничего не хочу, я хотел бы от других. В конце месяца будет областное совещание доярок, поедет Волков. И мы решили послать тебя.

— Это что еще?

— Такие совещания проводятся каждый год, ты не работаешь года, да какой там бес знает это, и мы решили послать тебя, потому что и слепому ясно: с твоей настырностью, то есть настойчивостью, ты будешь доить тысяч пять. Я хочу тебе удачи.

Галя подумала: «Это хорошо, если пошлют в город. Надо будет побегать по магазинам». От аванса, выданного ей, оставалась еще половина.

Новый зоотехник Коля Пастухов работал после института первый год.

Он был длинный, худой, малоразговорчивый, в роговых очках и огромной заячьей шапке, совсем не похожий на свергнутого Цугрика. Это было событие, о котором говорили две недели. После тихого и мирного разговора с Галей Воробьев отправился в Пахомово и поднял там скандал, орал на Цугрика, швырял его папки в форточки, топтал ногами и в довершение всего разбил палкой настольное стекло.

Новый зоотехник еще не прибыл, а девкам уже было известно, что он не женат, что в городе у него осталась горячо любимая мама, которая через день шлет письма и уже прислала две посылки.

Он приехал на ферму, долго ходил по ней, тихий, нескладный, ужасно вежливый, чем нагнал страху; и если он делал какое-нибудь замечание, все бросались выполнять со всех ног.

Первым делом он прицепился к Лимону. Почему такой отличный племенной бык живет в стаде?

После упорной торговли Лимон был отправлен на центральную усадьбу, а оттуда в племсовхоз в обмен на породистых коров.

Собрав доярок в красном уголке, Коля, поблескивая очками, прочитал им лекцию об искусственном осеменении и закончил ее красный как рак. А доярки хихикали и задавали каверзные вопросы.

С Лимоном было расставаться жаль. Хоть какой он ни был балбес, а все к нему привыкли и провожали с грустью. Люся Ряхина спохватилась:

— Чего мы его словно хороним? Да ему, паразиту, там, знаете, какая будет жизнь!

Затем Коля Пастухов прицепился к халатам, вернее — к отсутствию их. Весь прогрессивный мир ходил за коровами в халатах, только на возмутительной Рудневской ферме их нет.

На возмутительной Рудневской ферме царит умопомрачительная грязь, здесь бытуют какие-то первобытные понятия о чистоте. Напрасно доярки ахали, всплескивали руками и рассказывали, что тут было раньше. Если бы сюда зашла Колина мама, она умерла бы от испуга, — было им сообщено, и этот довод неожиданно всех убедил.

Так они несколько дней заново скоблили, белили коровник, чистили коров, прибивали над ними таблички, шили халаты и стали носить их, стирая раз в неделю.

Набравшись духу, Галя спросила у нового зоотехника, нельзя ли достать ту фантастическую мочевины, о которой пишут, будто она повышает удои.

Коля удивился и сказал, что на центральной усадьбе лежат в дальнем углу кладовой двадцать мешков мочевины, — почему они не берут?

Галя так и ахнула. Нет, право, стоило бы Цугрику набить морду.

Послали Петьку, он привез пять мешков мутновато-бесцветных кристаллов, которые стали подсыпать коровам в корм.

Тогда Галя завела разговоры: а как насчет беспривязного содержания?

Коля ответил, что на этот счет мир придерживается разных точек зрения. В Южной Америке коровы гуляют вообще на воле, дичают, и их ловят лассо. Это мясное животноводство. При молочном же коровы находятся в загонах и коровниках, доятся на специальных площадках, но, когда они гуляют без привязи, нужно много корма. Экономя корм, мы держим коров на привязи.

В целях той же экономии мы отрываем телят от вымени, и телятницы кормят их молоком из бутылки, в которую добавляют половину воды.

При этом спрашивается: какие могут вырасти телята?

Коля немедленно выделил двух коров кормилицами для телятника, а соски выбросил в снег, где они тотчас были разобраны мальчишками на рогатки.



Художник не пожалел золота и красок на пригласительный билет. Развевались флаги в окружении дубовых листьев, смешались в кучу домны, гидростанции, дымящие трубы и молочно-товарные станции. Когда-то считали, что чем больше дымящих труб, тем больше на картинке будет духа коммунизма. Потом оказалось, что трубы засоряют воздух, и при коммунизме их вообще не должно быть.

Этот роскошный билет на совещание доярок Галя спрятала в рукавицу, а Волков, сидя боком за столом и опершись на подоконник, возмущенно говорил:

— Из всех драконов, оставленных царизмом в деревне, самые цепкие — это невежество и бедность. И ведь что удивительно: кое-кто до сих пор невежество воспринимает как нечто естественное для деревни. С ума сойти! Почему? Я спрашиваю: почему? Вчера читаю в газете такую парадную заметку: хорошеет-де наше родное село, все хорошо трудятся, большинство имеют радио и выписывают газету... Это потрясающе! Напиши кто-нибудь такое о городе, все сказали бы: «Ну и что?» Но в деревне мы, оказывается, находимся на той стадии, когда подписка на газету — предмет гордости и похвалы? Может, в следующем номере с гордостью сообщить, что колхозники покупают мыло? Это не пустяки, это потому, что у нас два критерия: один для города, другой для села. На каком основании? Царизма нет, эксплуатации нет, есть чуть не полстолетия советской власти, пора пересматривать критерии! И не думают, что эта разница в критериях как раз и узаконивает нашу отсталость. А радуются чему? Мы вылезли из лаптей, оседлали тракторы, забыли о лучине — очень хорошо! Но не пора ли прекратить сравнивать с тем, что было полвека назад, тысячу лет назад или при каменном веке? С тем покончено. Навсегда. Сравнивать надо только с тем, что должно быть. И добиваться того, что должно быть! А так, как у нас сегодня еще есть, так быть не должно! Самое возмутительное: живущие ко многому привыкли, многого не замечают, говорят: «Не ходим в лаптях, ходим в сапогах — и хорошо!» А привычка — это враг! Она руки отбивает. А дел и дыр столько, что не знаешь, какую первую латать!.. Мы же пишем записочки! Парадные сравнения! Убежденные речи! Мы коммунисты — мы не имеем права не смотреть правде в глаза. Дела в деревне обстоят еще очень и очень сложно, и здесь нет одной панацеи, здесь может быть только комплекс дел,

переворот, требующий лучших сил поколения и времени. Да, мы живем здесь на местах — мы это видим, видим!

— Что вы кричите? — сказала Галя. — На собраниях покричите, вам карты в руки.

— А я кричу вам, — воскликнул Волков. — Позвольте один вопрос: вы комсомолка?

Галя пожала плечами.

— Как там у вас в Рудневе комсомольская жизнь?

— Никак.

— М-да... — пробормотал он. — Платят взносы, раз в год проводится отчетно-выборное собрание.

— При мне собрания не было.

— Послушай-ка, Галя, — грустно сказал Волков, — а кто в Рудневе группомсорг, хотя бы тебе известно?

— Там, одна... Верка... Вот вы все говорите слова, — взорвалась Галя, — слова мы все можем наговорить. А вы интересовались комсомолом до сих пор? Вы же должны нами, комсомольцами, руководить, а у нас ничего, ничего нет, есть цифра членов для ваших реляций. Почему это у вас так поставлено?

— Вот началась беседа, — сказал Волков. — Это самое я и имел в виду: почему это у вас так поставлено?

— У нас?

— Да, у вас. Вы что же, не люди? Вы что же, не организация? У вас, что же, каждый человек — не штык? Значит, я должен приехать и провести вам игры с бегом в мешках? Ах вы, щенята, ах вы, иждивенцы! У вас столько возможностей, вам столько дано — от обсуждения и решения проблем до дисциплинарного воздействия включительно! А вы взносы платите. Верка там одна... Ты о Верке не думай, она вчера здесь у меня была. Ты думай о себе. Ты платишь пять или сколько там копеек — это, значит, для тебя называется комсомолом? Недорогой у тебя комсомол!

— А что я сделаю? Я не на посту ни на каком. Это Веркины заботы, я думаю. Что ж она не поднимает никого?

— Вас подыметь, вот таких иждивенцев!

— Ладно, — сказала Галя, — хорошо, что вы напомнили о наших обязанностях и правах. До сих пор мы устраивали вам беспокойство просто как трудящиеся. Ладно. Ладно, хорошо! Мы возьмемся как комсомольцы. Берегитесь!..

— Мне ничего другого не надо, — сказал Волков. — Рассердитесь, прошу вас!

— Я пойду, — сказала Галя. — Не улыбайтесь, вы еще будете плакать, что нас рассердили.

— Тогда отдадите меня в музей, — сказал Волков.

И только на крыльце Галя сообразила, что он имел в виду, говоря это, знаменитые строчки: «Если бы выставить в музее плачущего большевика...»

Она поторопилась уйти, потому что боялась, как бы не закрылся магазин. К поездке в город надо было хоть что-нибудь купить, невозможно было ехать в том старье, что у нее. Денег у нее мало. С оплатой труда на ферме творилось черт знает что. Воробьев считал, что раз доярки пьют на ферме молоко — значит, питаются, а питаются — значит, жить можно.

Плац перед правлением был занесен снегом. По четырем его сторонам, утопая в снегах, гнездились маленькие, с маленькими оконцами, избы — те, о которых говорил Волков. К одной из таких изб была протоптана тропка пошире — это был магазин.

В нем было полутемно и холодно, как в леднике. Посиневшая продавщица не шелохнулась при входе Гали, закутанная по самый нос в тулуп. На полуголых полках лежали соевые конфеты, пластмассовые голыши, в бочках стояла олифа. Галя осмотрела стеклярусные безделушки, туфли из грубой кожи на чурбакоподобных каблуках. Она посмотрела на все глазами Волкова и тоже спросила: «Почему?»

Галя решила, что купит все необходимое в городе, и пошла искать попутную машину. Она проваливалась в снег, спотыкалась, ее что-то душило. Она только сейчас поняла до конца смысл слов Волкова «переворот, требующий лучших сил поколения». Она вдруг поняла, что это не просто слова, что это работа, работа, работа изо дня в день, от вехи до вехи и что поколение — это она сама, она и миллионы таких, как она.

## **Пятая часть**

Дни все еще были короткие, и потому казалось, что встаешь и ложишься глубокой ночью.

У Гали давно выработался тот внутренний будильник, который будил ее в четвертом часу, когда бы она ни легла.

И вставать каждый раз все равно не хотелось, и вечно приходилось бороться с собой, с искушением полежать под одеялом хоть пять минут, и никогда это искушение не удовлетворялось.

Противнее всего были первые минуты: тело ломило, как от ревматизма, руки-ноги не двигались, не хотелось есть. Но как раз все это нужно было проделывать.

Галя помахала руками, чтобы прийти в себя, разожгла в печке лучинки, поставила таганок со вчерашним супом: если не поешь с утра горячего, весь день будет холодный и тягостный.

Она поела без всякого аппетита и стала собираться.

Затруднительны были эти сборы на областное совещание доярок. Пальто приличного не было — она таскала старый полушубок Пуговкиной. Туфли имелись, но в дорогу надо ехать в валенках. Она завернула туфли в бумагу, чтобы там все-таки переодеть. Платье было. Простенькое, сама осенью сшила и в деревне годилось, но ехать в город в нем было стыдно.

Она взяла тетрадь и карандаш — записывать разные умные вещи, покрепче затянула узел платка и пошла искать машину — этакая покачивающаяся, утопающая в снегу, неуклюжая матрешка в валенках.

За ночь намело нового снега, и ей пришлось брести в нем по колено, прокладывая первый след.

Всегда она прокладывала первый след по утрам, и потом уже все так и ходили, как прошла она, а если она делала нечаянный зигзаг, то и все делали такой же зигзаг и прочно утаптывали дорожку с зигзагом.

Задумавшись, она и сделала именно такой зигзаг, машинально свернув к коровнику, но вовремя спохватилась и почувствовала себя тревожно и странно, словно с этого дня начиналась какая-то для нее новая, неведомая жизнь.

Машина стояла у конторы, залепленная снегом, как на новогодней картинке.

Это был тот самый грузовик, на котором пытались увезти Сливу.

Галю несколько покорила предстоящая встреча с шофером. Она его уже встречала раньше, но даже не здоровалась, а теперь — на тебе, тащись вместе семнадцать километров!

Она открыла дверцу, залезла в холодную кабину и, усевшись удобнее, задремала, как в яму упала.

Ее разбудил шофер.

— А! — сказал шофер. — Это ты, тигра? Если сегодня вздумаешь кусаться, не поеду. Ты сразу скажи, чтоб не возвращаться.

— Не буду кусаться, — пообещала Галя.

Шофер долго заводил застывший мотор. Наконец это удалось, он поспешно плюхнулся на сиденье, включил фары — и все вокруг преобразилось.

С боков в кабину хлынула тьма, а перед радиатором все заискрилось, засверкало, так что глазам стало больно, и была сказочная красота, а шофер сказал:

— Ну, помучаемся мы в этом адском снегу!

Машина натужно запыхтела, заскрипела, но пошла, давя снежные заносы, медленно прошла село, выбралась в поле и все шарила, шарила своими стеклянными глазами, отыскивая едва приметную дорогу, не обращая внимания на сверкание и елочные блески.

— Хорошо, цепи новые поставил, — сказал шофер довольно. — Даст бог — выберемся, не такие снега проходили.

— Давно вы работаете? — спросила Галя из вежливости.

— С сорок первого года.

Галя удивилась. Шоферу только того и нужно было.

— Я водил еще старые полуторки, — похвастался он. — То была машина — все четыре колеса! На ней мы бы уже давно сидели по ноздрю, а как мы тогда ее хвалили! Славная лошадка была по тем временам; на ней мы самое страшное время войны проехали. Ты, верно, не помнишь!

Он помолчал, лавируя рулем, но, видно, он славно выспался и настроение у него было хорошее, ему хотелось беседовать.

— Удивительное дело, — сказал он. — Кажется, совсем недавно смотрел я в журнале картинку — проект новой машины «Победа». Смотрел и думал: «Ух, черт, вот это машина — ракета, а не машина!» А сейчас на ту «Победу» никто и не взглянет. Стара, матушка, стала. «Чайка», говорят, — вот ничего машина. Спрашивается, что же будет через двадцать лет? Я нестарый человек, родился после революции, а помню, как однажды батя привез на телеге радио — громадное, сложное сооружение. Не помню, из скольких ящиков состоял тот приемник: не то их было четыре, не то пять,

на одном еще лампочка сверху торчала. Расставил он все это на двух столах, аккумулятор подключил, колдовал, крутил — и вдруг эта штуковина как заорет! Музыку, понимаешь, из Москвы мы в деревне слышали. Старики сбежались, шапки долой — и давай креститься! Попробуй, пусть кто-нибудь сейчас тебе перекрестится. Сидят перед телевизором, глядят, зевают. Радио так радио, телевизор, телефон там — все нормально, что такого? На одном моем веку — теперь считай — сколько нового появилось. Чертовски интересно так жить, и, правда, обидно, что жизнь коротка. Еще война распроклятая забрала четыре года. Четыре лучших года, черт подери!

— Вы прошли всю войну? — с уважением спросила Галя.

— Всю. Шесть раз в госпитале лежал. И так мне везло, что все заживало, как на собаке, и посылали меня опять в самое пекло. Шарахнет — «Ну, — думаю, — на этот раз, братец, номер не пройдет!» — а он проходит! Я уж удивляться начал, а потом, когда пришел День Победы, когда понял, что суждено мне жить и жить, — вовсе от удивления рехнулся. Удивляюсь и плачу, все тут. Это же черт знает, это же невозможно описать! Уж как нравится, что вот вышел — и живешь. Словно на большак выехал, удивляешься. А ты нет? Что вы понимаете, молодые-зеленые! Выросли — думали, так всегда было. Так никогда не было! Вы этого не понимаете.

— Мы понимаем, — сказала Галя.

— Ага! — довольно сказал шофер. — Как ракеты стали летать, так и вы кое-что поняли, даже вас удивили.

В Пахомово они прибыли, когда в домах уже светились окна и из труб до самого неба поднимались прямые белые дымы. Ветра не было, мороз кусал.

— Скорее, скорее, опаздываем! — сказал Волков, выбегая из правления, закутанный в шубу, в большом треухе.

«Москвич» у Степки был разогрет. Галя только перепрыгнула из кабины в кабину, и опять под радиатор поползла сверкающая дорога. Волков был бодрый, потирал руки, необычно взволнованный, наверное, предстоящей поездкой.

— Итак, тебе сегодня нужно выступить, — начал он, оборачиваясь. — Обязательно!

— Что вы? Ни за что! — сказала Галя. — Никогда в жизни не выступала.

— Ложь номер один. Выступала, очень удачно. Это было однажды хорошим летним утром под стенами коровника.

— Ну, то... Там все свои были.

— Тут тоже свои. Понимаешь, собирается самый цвет людей, которые

поставляют молоко, квинтэссенция их. Ты выступишь и скажешь, как к коровам нужно относиться по-человечески.

— Ваша квинтэссенция это прекрасно знает, — возразила Галя. — Не буду выступать, можете поворачивать обратно.

— Да, упрямая, — огорчился Волков. — Знаешь, я на тебя насмотрелся — сам упрямым стал. Вчера было правление, я одно дело предложил — все «против», я как заупрямился, всех переупрямил, вот так! Все из-за тебя.

— Упрямством города берут, — заметил Степка-шофер.

— Не упрямством, положим, а нахальством, темный человек. И кстати, насчет нахальства: пришло в область письмо из Министерства высшего образования, в котором говорится, что специально для молодых рабочих и колхозников забронированы места в ряде вузов, то есть на эти места конкурс минимальный, хотя поблажек не будет, но вас приглашают, кто понахальнее.

— Пошлите меня, — сказал Степка.

— Куда тебя, шалопая?

— Да хоть на клоуна!

— Это мысль, — сказал Волков, — своего клоуна у нас в колхозе нет. Так как ты смотришь, Галя?

— Если вы будете отпускать на экзамены... — осторожно и дипломатично начала Галя, но Волков перебил:

— На экзамены — законно. Потому что, если не будем отпускать, нам головы снимут, не беспокойся.

Гале это понравилось, и она спросила:

— Вы все делаете под страхом снятия головы?

— Нет, иногда мы делаем под страхом совести с зелеными глазами, но головы нам ежедневно грозятся снести. Мы со Степкой уже перестали понимать, полезные мы существа или нет. Ему еще я иногда выношу благодарность, а на меня сыплются одни колотушки — снизу и сверху, в хвост, в гриву. Не понимаю, как только их выдерживаю.

— А вы бросайте это дело, — посоветовал Степка.

— Нельзя.

— Почему нельзя?

— Есть такое слово.

— Что за слово? — удивился Степка.

— Такое простое слово: партия, — сказал Волков.

— А на партийной работе вы можете и где-нибудь в другом месте работать, не обязательно здесь.



— Ты думаешь, — спросил Волков, — что где-то есть тихая и мирная партийная работа? Тогда да будет тебе известно, что такой работы не было и нет, а если существует, то это не партийная работа. Думаю, что и в будущем никогда такой не будет.

— Ясно, вы уже люди будущего, — усмехнулся Степка.

— Нет, — сказал Волков, — мы не люди будущего. В будущем такие, как мы, пожалуй, окажутся не нужны. Не сразу, конечно, не пугайся, нам с тобой хватит, мы заездим еще не один «Москвич». Но придет такое время, когда люди, случайно оглянувшись, скажут: «Да как же это было, что человек норовил не выйти на работу и, когда не выходил, ему выносили выговор! Разве ему было неинтересно?»

— А-а!.. — воскликнул Степка. — Вот то-то что вам интересно, оттого и день у вас ненормированный, и вы мечетесь как угорелый.

— Нет, — опять возразил Волков, — я бы с большим удовольствием копался в археологии, это моя любимая наука...

— Тогда совсем не понимаю, — сказал Степка. — Мне вот нравится в общем ездить, я езжу, а не понравилось бы — ушел.

— На более легкую или более трудную работу?

— Ну, допустим, на более легкую совестно как-то, — раздумывая, сказал Степка. — Люди, чего доброго, скажут...

— Ну, вот мы и договорились, — заключил Волков.

Машина въезжала в город.

Потянулись трамвайные пути, замелькали огни вывесок. Промелькнул магазин «Молоко», а через квартал — другой, и возле него стояла голубая автоцистерна.

— Это не наша ли? — спросил Волков, вглядываясь, но проехали так быстро, что не успели рассмотреть.

Как каждый трубочист оценивает город прежде всего с точки зрения труб, так и Галя с Волковым невольно замечали у парадных проволочные ящики с белыми бутылками, бидончики в руках старушек.

«Молоко, — думала Галя, — хорошая вещь, оно заслуживает доброго слова. Оно сопровождает человека всю его жизнь, как хлеб. Дети вырастают на нем, еще не умея жевать. Это самый питательный продукт на земле — в нем абсолютно все, что надо для жизни. Два с половиной миллиарда людей его пьют и потребляют его продукты, а это уже что-нибудь. Дай бог здоровья коровам и тем, кто работает возле них!»

Совещание доярок проходило в драматическом театре.

У входа бурлила толпа, вдоль тротуара выстроилась длинная шеренга машин. Все время прибывали автобусы; из них высаживались бабы в валенках, теплых платках, девки, старухи.

Оставив Степку при машине, Волков и Галя предъявили свои билеты и прошли внутрь.

Вдоль стен фойе, прямо под портретами артистов и макетами декораций, были расставлены доильные аппараты, жиromeры, молокомеры, сепараторы, висели ряды плакатов.

В боковом фойе играл духовой оркестр, но никто не танцевал, люди жались по стенам, стесняясь своих валенок. И Галя порадовалась, что захватила с собой туфли и смогла переобуться в гардеробе.

В фойе второго этажа были поставлены длинные столы, уставленные бутылками с пивом и закусками. Кроме того, в этом расширенном буфете кипели самовары, и официантки едва успевали наливать чай, открывать бутылки и рассчитывать.

Закуски так аппетитно стояли на столах, что невольно тянуло присесть. Опытные председатели колхозов подавали пример — накачивались пивом. В углу образовалась длинная очередь за апельсинами.

По радио объявляли: «Представители колхоза имени Революции, подойдите к столу регистрации», «На втором этаже открыта продажа промтоваров, просим посетить».

Волков повел Галю в зал. Здесь на каждом кресле лежали плакаты о передовых доярках с их портретами: «З. П. Шаповалова выполнила свое обязательство!», «Анна Калинина крепко держит слово!»

Устроившись поближе к сцене, Галя с Волковым развернули плакаты. Доярки были действительно не какие-нибудь: об одной сообщалось, что она «надоила в минувшем году по 5,5 тысячи килограммов молока от каждой закрепленной за ней фуражной коровы». Другая надоила почти шесть тысяч.

Галя поневоле волновалась. Сейчас ее работа выступала — при этом блеске ламп, музыке оркестра, при таком торжестве — в каком-то новом свете, о котором она мало задумывалась, когда билась с «тугосисей» Белоножкой, раздаивала Сливу и таскала опилки.

Волков мешал ей сосредоточиться, показывая знаменитых доярок и председателей колхозов, которые сидели в первом ряду, явно предупрежденные, что их попросят в президиум.

Прямо перед Галей сидели три женщины, и средняя, чем-то похожая на Софью Васильевну, натаскивала доярку постарше:

— Скажешь: «Мы берем обязательство надоить по три с половиной тысячи». Скажешь: «У нас хорошо трудятся Никитова, Павлова, Анохина». Скажешь...

— Ой, забуду! — трепетала доярка.

— Запоминай! Скажи: «Мы боремся за высокие надои».

— Мы боремся за высокие надои...

— Наш трудовой коллектив под руководством опытной заведующей Ольги Петровны Горчаковой...

— Наш трудовой коллектив... Ой, забуду!

— Под руководством...

— Под руководством... Пусть Нинка выступит!

— Нинка пуще забудет. Я тебе на бумажке напишу, ты только прочтешь. Ты уже в списке, должна выступать.

Зал заполнялся. Звонили уже четыре раза, призывая засидевшихся за пивом председателей; потом выяснилось, что в промтоварном киоске доярки стоят за какими-то модными платками. Киоск до перерыва закрыли, тогда зал наполнился.

Доклад читал старый дяденька, закаленный и прокаленный в такого рода вещах. Читал он по напечатанным листкам долго, нудно, перечисляя цифры по области в целом, цифры по управлениям в отдельности, цифры по колхозам и совхозам в частности. Из доклада явствовало, что налицо имеется серьезное отставание с выполнением, но вместе с тем многотысячный коллектив полон решимости, так что вроде бы ничего.

Ритмично вскидывая руку, он нечаянно задел графин, вода плеснулась. Он едва успел подхватить графин, отряхнул руки и пробормотал, виновато-сконфуженно глядя в зал:

— Фу ты, надо же такое!..

И сразу стал человеком. Галя подумала, что у него, наверное, есть старенькая добрая жена и много детей, которые его любят. Но он опять пошел перечислять цифры, которыми снабдили его разные цугрики; и она слушала, слушала... Ее стало неудержимо клонить ко сну; она посмотрела на Волкова — тот тоже клевал носом.

— Давай сбежим, пива выпьем? — сказал Волков, просыпаясь. — Жми за мной через равный интервал, я подожду за дверью.

Он, пригибаясь, пошел к выходу, а Галя за ним.

В фойе было много народу — не одни они с Волковым были такие хитрые. Волков заказал две бутылки и бутерброды. В последний раз Галя пила пиво, кажется, на выпускном вечере. Она храбро пропустила два стакана и почувствовала, что хмелеет.

— Скажите, кому нужен такой доклад? — спросила она.

— Аллах его ведает! Так заведено в общем, — ответил Волков, налегая на бутерброды. — Для солидности — и потом, чтобы было что обсуждать.

Подсел корреспондент, обвешанный аппаратами, спросил, из какого колхоза, стал брать интервью:

— Кто у вас хорошо трудится?

Галя назвала своих доярок.

— По сколько надаиваете от коровы?

Галя ответила.

— Какие обязательства у вас?

— Четыре с половиной тысячи, — бойко ответила Галя.

Он вскочил и убежал дальше.

Волков расплатился и повел Галю смотреть выставку. Здесь их остановил другой корреспондент, из молодежной газеты, и спросил, какое Галя взяла обязательство, по сколько надаивает от коровы и кто на ферме особенно хорошо трудится.

Затем подходили еще представители радио, издательства и «Блокнота агитатора». Очевидно, это был их стиль: ходить на совещания и в перерывах ловить передовиков, беря у них материал.

Послониавшись по фойе, посмотрев сепараторы и макеты, Волков и Галя спаслись от корреспондентов бегством обратно в зал. Там уже шли прения.

— Коровы у нас хорошие, — говорила худая, смуглая, очень толковая доярка, — а ферма никудышная. Судите сами: в дождь всех коров как из ведра поливает, на стенах грибы поросли. Сколько мы просили, напоминали: поставьте, наконец, крышу! А дирекции совхоза что — над ними не каплет! Доим коров вручную. Привезли в совхоз доильные аппараты, так они уже три месяца лежат в кладовой. Говорят, нельзя ставить, потому что электричество нерегулярно бывает. Так поставьте движок! До каких же пор мы будем руки убивать? С водой опять же: провели нам водопровод, а он два дня работает, а неделю нет. Разве это порядок?

Галя и Волков переглянулись и понимающе улыбнулись. Даже победно

улыбнулись. А с трибуны говорили интересные вещи.

— И вот после каждого аппарата додаиваем руками коров едва не на пятьдесят процентов, — выступала другая доярка, помоложе, очень взволнованная. — Я не хочу сказать плохое про наших ученых и техников, но пусть они придут в наш коровник и убедятся сами! Нужны такие аппараты, чтоб сосали не как телята, а лучше телят, иначе не стоило и огород городить. А это наша наука сделать может, может! Она доказала, что она все может! Только, видно, лень кому-то! Я хочу сказать про рабочий день доярки. Работа нелегкая. Вы все здесь знаете, что мы встаем до рассвета, ложимся в полночь, а днем досыпаем урывками. На многих фермах доярки имеют выходной день. А у нас, как у богом проклятых, ни выходных, ни отпусков, как прикованные, даже в город поехать купить себе что — некогда. Нам говорят: «Это не завод вам и не совхоз». А что же, по-вашему, в колхозах не советские люди работают?

Галя и Волков опять переглянулись, уже не так весело. Волков пожал плечом и отвернулся, разглядывая ярко освещенный зал.

Но вот на трибуну взошла пожилая доярка, сидевшая перед Галей. Она перепуганно комкала бумажку.

— Мы... — хрипло сказала она и замолчала.

Секунд пятнадцать зал терпеливо ждал, потом кое-где послышались смешки. Очень уж забавно стояла она с раскрытым ртом.

— Не волнуйтесь, ничего, — успокоил кто-то из президиума. — Расскажите, что хотели.

Доярка посмотрела в бумажку и медленно разобрала по слогам:

— Мы боремся за высо-кие на-дои... Наш трудовой коллектив под руко-водством опи-опи...

В зале уже откровенно смеялись.

— ...опытной заве-дую-щей, — чуть не со слезами читала доярка, — Ольги Петровны... Наш...

Она махнула рукой и пошла со сцены. Раздались жидкие иронические аплодисменты. Она, красная, села на свое место, опустила голову, и три женщины до самого конца не проронили ни слова.

Опять выступали, опять никто не хвастался. Недаром корреспонденты ловили неосторожных в фойе, а не сидели в зале. Очевидно, у них был опыт.

— Можно подумать, что у нас все только плохо, — сказала Галя, уже начиная уставать.

— Люди стали очень требовательные, — сказал Волков. — Чего бы

они ни достигали, хотят большего и лучшего. Удивительное дело, смотрю на зал и думаю: в наших краях когда-то охотился Тургенев. Бежин луг, Красивая Меча — это наши места. Были здесь люди, о которых он писал. Потом их потомки делали революции. Сейчас в этом зале собрались потомки уже этих потомков. Как ты думаешь, а ведь все-таки серьезно мы изменились с тех пор?

— Очень, — сказала Галя.

— Ну и то хорошо, будем хотеть лучшего. Только бы войны не было.

— Теперь, кажется, и я бы выступила, — вздохнула Галя.

— Поздно, — сказал он. — Да и мне расхотелось, чтобы ты меня костила на все заставки.

— Я бы и похвалила, — сказала Галя. — Вы быстро исправляетесь. Помните, когда везли меня, сказали: «Там доят, как при скифах»? За полгода мы от скифов добрались до нынешнего века, и за это я готова вас уважать.

— Слушай, Галя, — сказал он немного грустно. — Не бросай ты наш колхоз.

— С чего вы? — удивилась она.

— Какой бы он ни был, не бросай! Вот выдвинешься, потом закончишь институт, переманят тебя на сладкие места. А если ты уйдешь, мне будет горько, право.

— Не думаю уходить, — пробормотала Галя.

— Наш колхозик, — говорил он, не слушая, — ты увидишь лет через десять, ты не узнаешь его, глазам не поверишь...

— Я верю, верю! — сказала Галя.

— И жениха тебе найдем, если хочешь. Торжественно тебе обещаю. Если не найду, сам женюсь, честное слово, — сказал он, переходя на свой обычный шуточный тон.

— Я за вас еще не пойду.

— Ничего, я очарую: отпущу чуб и приеду с гармошкой петь под окнами про черемуху, как это делают в колхозных опереттах.

— Разве что с гармошкой, — сказала Галя. — Гармошка нам в Рудневе страшно нужна.

Объявили перерыв, и бабы густой толпой побежали на второй этаж, в промтоварный киоск, за платками.

— Ужасно неинтересно, — говорил Волков, расхаживая с Галей по фойе, — посвящать свою единственную жизнь какой-нибудь чепухе, рвать, подличать, юлить или вообще сдаваться. В нас так много талантов, что жить с ними по-хамски — это просто грешно.

Он все время здоровался, представлял кому-то Галю. Она плохо его слушала, у нее от всего этого калейдоскопа кружилась голова.

— Не пасовать перед жизнью, — говорил Волков. — На черта мне тогда вообще такая жизнь! Я хочу создавать ее, распоряжаться ею, ощущать ее каждой клеткой себя — это уже так много, что бог весть когда оно придет для всех, на высшей фазе коммунизма, быть может...

Они остановились перед промтоварным киоском. Давка была невообразимая.

— Так у нас и делается, — раздраженно сказал Волков. — Эти платки по городу во всех магазинах, но дояркам некогда бегать, и вот не могли поставить несколько продавцов.

В противоположном конце все играл оркестр. Опять люди жались к стенам, никто не танцевал, и было жаль музыкантов, которые старались без результата.

— Пойдем? — спросил Волков.

— Я разучилась! — испугалась Галя.



— Все разучились! — воскликнул он, подхватил ее и вытащил в круг.

С боков подходили люди, охотно смотрели, толпа у оркестра все увеличивалась, но Волков и Галя как начали, так и закончили танец одни.

Оркестр заиграл танго, и тут желающих нашлось сразу десятка три, даже стало тесно. Галя вздохнула свободнее, ей стало очень хорошо.

— Так надо поднимать массы, — сказал Волков, — личным заразительным примером.

Ему подмигивали знакомые, а он, не смущаясь, показывал им сквозь щеку язык; Галя видела, что он ею гордится, и ей понравилось это. Она чувствовала, как на нее смотрят, и совсем перестала стесняться. Волков танцевал хорошо. Они танцевали все танцы подряд до самого третьего звонка, и, когда пришли в зал, оказалось, что их места заняли. Они сели где-то в заднем ряду. Волков сказал улыбаясь:

— Ну ладно, так я завтра покупаю гармошку. Идет?

Он полез в карман и добыл большую конфету, которую купил



неизвестно когда. Галя конфету долго ела и спрятала обертку, чтобы когда-нибудь, взглянув на нее, вспомнить этот день.

На сцене лысый ученый рассказывал о подборе кормов, другой, химик, говорил о разных препаратах и витаминах, третий оказался специалистом по телятам.

Галя слушала и убеждалась, что ничего этого не знает. Ей до тоски захотелось в институт. Словно угадывая ее мысль, Волков сказал:

— Вообще сейчас от доярки не требуется среднего образования, но насколько доярка с образованием нахальнее доярки без образования, видно хотя бы на примере Рудневской фермы. Скоро в доярки будут принимать только с высшим образованием, тебе не кажется?

Полгода назад скажи Гале кто-нибудь такое, она посмотрела бы на него, как на сумасшедшего. Теперь она подумала, что когда-то так будет. Надо бы подбить девок на ферме учиться, чтобы не оказаться потом на задворках.

Зачитывали имена награжденных. Стал играть оркестр. И они, эти награжденные, выходили на сцену — всякие-разные, мешковатые, смущенные, неуклюжие, получали знамя, или вымпел, или подарки, терпели, пока их фотографировали.

Она почувствовала, как Волков толкает ее в бок, не поняла, что это значит, а он кричал на ухо:

— Тебя вызывают, выходи!

Он ее просто вытолкнул из ряда. Она поверила ему на слово, пошла по длинному проходу, опять заиграл оркестр, и кто-то в первом ряду громко сказал:

— Та, что танцевала!

Ослепленная огнями, она поднялась на сцену. Мигнула вспышка, когда ей вручали грамоту и золотые часы. Как вернулась обратно — не помнила, увидела только лицо Волкова, его протянутую руку, ухватила за эту руку и села. Соседи заглядывали через ее плечо в грамоту — там было действительно написано ее имя.

— Зачем вы это сделали? — возмущенно сказала она Волкову. — Это ваша работа, я знаю.

— Допустим, это твоя работа, если на то пошло, — ответил он, обидевшись, но тут же пожал ее локоть и стал смотреть на сцену.

Она не знала, куда положить грамоту и коробку с часами. Они жгли ей руки. Приоткрыв коробку, она увидела маленький циферблат.

— Я бы, например, надел, — сказал Волков, — карманов у тебя ведь

нет. Тут есть и ремешок, это они теперь предусматривают.

Он отобрал коробку, взял ее руку — Галя повиновалась, как во сне, — осторожно и ловко надел часы. И ее не радовали эти часы, но были приятны его прикосновения. Она бы еще раз сняла, чтобы он снова надел.

А коробку с фиолетовым бархатом все равно было жалко выбрасывать. Так она и унесла ее с собой.

Кончилось все. За столами в фойе мужчины торопились в последний раз выпить пива, в раздевалке была толпа. Волков принес Галин полушубок и валенки. Она облачилась и поняла, что действительно кончилось все.

Грамоту она держала свернутой в трубочку, опасаясь измять. Коробку от часов положила в карман. «Узнала бы мама! — подумала она. — Положу я эту грамоту к ее диплому...»

Ей стало грустно, так грустно, что хоть сядь на пол и плачь! Волков озабоченно проталкивался, балагурил и тащил ее к выходу. Толпа их вынесла из подъезда, а у нее внутри все скипелось так, что не продохнуть. Она проглатывала, проглатывала комок, но глаза не выдержали, закапали слезы. Волков не замечал, он искал машину. Ее загнали за угол в проулок, и Степка лежал в кабине, читая потрепанную книжку.

Галя увидела, что на улицах страшно много воды, и небо синее; верно, был хороший день и здорово шпарило солнце, потому что со всех крыш лилось, а вдоль тротуаров неслись грязные потоки, огибая колеса машин. Снег на асфальте стоял дочиста, только оставался на газонах.

— Как ты поживал? — спросил Волков.

— Вот, печенье купил. — Степка протянул пачку. — С девочкой познакомился.

— А весна, черт ее дери, не шутит!..

— Предсказывают раннюю в этом году.

— Поехали?

Они долго выбирались из затора машин, которые двинулись все разом, как тараканы.

— Галя, Галя, — сказал Волков, оборачиваясь.

Она встрепенулась, ожидая, что скажет он, но он, видно, просто так сказал, посмотрел на нее, улыбнувшись, и сел прямо.

Из-под передних машин летели грязные брызги, ветровое стекло густо покрылось ими, и очиститель только развозил муть. Степка нервничал, но не мог остановить, чтобы протереть.

В боковые стекла были видны магазины, по которым Гале так и не

удалось походить, на некоторых уже горели вывески — короткий день кончился.

Степка несколько раз останавливал, протирал стекло, но оно опять забрызгивалось.

Потянулись окраины, склады, гаражи, рельсовые пути, а потом уже пошли просто поля, на которых за день солнце согнало снег с бугров.

Она спала, но сквозь сон хорошо слышала все звуки: как идет дождь, как он булькает в выбитых ямках за стеной, как почему-то на утятнике сильно кричат утки.

Весна началась. Все потекло, дороги развезло, дул южный ветер, и коров уже иногда оставляли ночевать в загоне, а в утятник выпустили несколько тысяч утят, которые стали расти не по дням, а по часам. Было странно, что они кричат ночью, но не было сил проснуться и обдумать.

Она спала и не спала, тянучие мысли набегали одна на другую, наслаивались — все разные житейские заботы, но не успевала она покончить с одной, как спешила другая, и все стучалась тревога: «Вот не успею, вот не выйдет!»

Вдруг распахнулась дверь, вошла Пуговкина и сказала:

— Вставай! Атомная бомба.

Галя ошалело вскочила, вылетела в одной рубашке на крыльцо, и перед ней открылась жуткая картина.

На полнеба, до самого зенита, поднималась неправдоподобно седая туча, поднималась до невероятных высот, лениво клубясь и охватив уже больше половины горизонта. Звук еще не дошел, он должен был вот-вот разорвать воздух. Эта гигантская катастрофа, ясно, уже поглотила Пахомово и распространялась с курьерской скоростью. Во всяком случае, Галя уже видела стремительные клубы, проглатывающие поля, и крохотное Руднево в долине замерло, как кролик, перед этим идущим раскаленным шквалом. Галя заметалась по крыльцу, не зная, падать ли, бессильно ли смотреть, — она понимала, что идут последние секунды ее жизни, — она застонала жутко, каким-то не своим, клокочущим голосом и проснулась.

Она села вся в холодном поту, немного опомнилась, почувствовала невероятное счастье, что это только сон, и посмотрела в окно.

За ним была темнота, хлюпал дождь, отдельные капли стукались о стекло, сползали по нему медленно, задерживаясь на полпути.

Все еще дрожа после страшного сна, Галя встала, зажгла свет и, убедившись, что Пуговкина до сих пор не пришла с утятника, пошарила в шкафчике.

Есть ей не хотелось, но она обнаружила в стакане слипшиеся конфеты-подушечки, отломил одну, стала сосать.

Сердце успокаивалось. Котенок сладко спал на ее кровати в ногах,

свернувшись в клубок, разморенный, теплый и мягкий. Она потормошила его, он перевернулся на спину, не собираясь просыпаться. Он так упоительно спал, что Галя сама от зависти захотела спать. Она погасила свет.

Автомобиль «Москвич» на своих длинных ногах мчался по нескончаемому полю, за рулем сидел Волков, а вокруг были глубокие провальные озера, цвела гречиха до самого горизонта, от ее душного запаха трудно становилось дышать, и над ней гудели мириады пчел. Какие-то люди шли и махали, делали знаки: там нет дороги! Волков покосился на них и сказал:

— Нам нравится ездить без дорог.

«Значит, это продолжается тот сон», — подумала Галя и повернулась на другой бок, чтобы удобнее смотреть.

Но автомобиля уже не было. Остались только поля и облака. Галя и Волков танцевали. Он вел ее бережно, нежно, лучше, чем в жизни, и говорил, а глаза его улыбались. И нельзя было понять, говорит он в шутку или всерьез:

— А разве поездка сама недостаточно хороша, чтобы ждать раздачу пряников в конце? Если страшно неинтересно посвящать жизнь чепухе, то тем более неинтересно юлить или сдаваться. Добро в наших руках, условно, конечно, но, пока жив человек, ему надобно изо всех сил держать его, — и тогда оно будет, тогда оно будет! Да, к сожалению, мы умрем, порастем кустами, но пусть никто не скажет, что под этими кустами лежат гады, ленивцы или невеселые люди. Они посмотрят и, может быть, захотят жить так же весело и умно или лучше, дай им бог!

— Вставай! Утятник затопило, — сказала Пуговкина, входя.

Она была мокрая, грязная, сразу же стала переодеваться в сухое.

Галя, дрожа, вскочила, сослепу кидалась, не находя одежду; ей показалось, что произошло что-то непоправимое, она ни о чем не спрашивала, только побежала за Пуговкиной в темноту, шлепая по лужам и спотыкаясь.

Ничего, собственно, не случилось, а просто воды с полей переполнили пруд, он вышел из берегов. И, опасаясь, как бы не прорвало плотину, Иванов стал загонять уток в сарай, но только переполошил и разворошил весь утятник. Тогда он послал Пуговкину созвать людей подсыпать плотину, потому что цементная труба не могла пропустить излишки воды.

Пруд был как наполненная до краев тарелка. Утки светлыми комками

плавали по мутной воде и пищали. Пуговкина сунула Гале лопату, и она стала бросать землю на какие-то носилки, а подняв лицо, увидела, что их носят Люся и Ольга. В темноте копошились еще несколько человек, а Иванов зло кричал:

— У вербы! У вербы!..

Дождь шпарил сильный и холодный, вскоре вода потекла Гале за воротник. Цементная труба гудела — так неслась сквозь нее вода, но вскоре выяснилось, что пруд переполняется быстрее, и где-то среди ночи вода пошла через верх, сразу в нескольких местах.

Бросив бесполезную лопату, Галя тупо смотрела, как от плотины отваливаются большие куски, как кракнула и развалилась старая цементная труба; видно, она давно уже растрескалась и держалась на честном слове.

Ольга стряхнула воду с лица ладонями и злобно, с ненавистью сказала: — А, пуцай плыветь! Може, хоть теперь почистят эту зар-разу.

Но не договорив, она всплеснула руками и бросилась на плотину; случилось то, чего опасался Иванов: уток понесло в прорыв. Они попадали в поток, били крыльями и летели по водопаду вниз, убивались там и расплывались по нижнему пруду, словно кучки тряпья.

Ольга выбежала на плотину и стала зычно кричать, швырять куски земли, чтобы отогнать уток. Часть отвернула, но других вода продолжала захватывать и нести.

Ольга полезла в прорыв, сорвалась, промокла до пояса, выругалась и пошла в воду. Растопырив руки, она хватала уток за крылья и швыряла их на плотину.

— Чокнутая, паразитка, вернись! — заругался Иванов, но она сунула ему пару уток, и он выкинул их на берег.

Сама собой как-то вышла цепочка, передавали мокрых, растрепанных уток из рук в руки, некоторые больно щипались, но Галя не обращала на это внимания.

— Эх, бабоньки мои! — воскликнул Иванов снизу, стоя в воде и бросая уток. — Бабоньки мои! Я ж вам... я ж вам... пол-литра поставлю!

Ольга бултыхалась в воде, и время от времени от нее летели вверх тормашками утки.

— Бабоньки мои, — бормотал Иванов, весь мокрый — по лицу вода, словно плача и смеясь. — Вы ж у меня молодцы!..

Скоро верхний пруд вытек; Иванов погнал Ольгу переодеваться, потому что уткам уже не могло быть вреда.

Галя промокла до нитки, и заледенелые руки не сгибались. Она пошла

домой, переделалась во всякое старье, какое только нашла, посмотрела на часы и удивилась: был рассвет.

Она только и успела перекусить и побежала на дойку. Дождь продолжался. Плотина была разрезана пополам провалом, как разрушенная крепостная стена, и внизу журчал мутный ручей, через который кто-то перекинул уже доску. Утки барахтались в донной грязи, расползались по берегам. Растопыривая руки, Пуговкина и Иванов ловили их.

Дойка прошла беспокойно, утомительно длинная: коровы, напуганные шумом и дождем, бесились. Амба перевернула полное ведро.

Доярки говорили о том, что уток погибло много, но это еще неплохо: год назад в «Рассвете» таким образом вообще погиб весь утятник.

Несмотря на то, что Галя почти не спала, ее не клонило ко сну, только во всем теле была какая-то судорожная напряженность и сердце устало стучало.

Подбросив коровам корму, она, волоча ноги, вышла — и остановилась, потрясенная.

На полнеба, до самого зенита, поднималась неправдоподобная серая мгла. Туча клубилась, за ней тащились разорванные клочья, а над головой уже засинело небо в просветах, дождь еще шел в полях, бушевал в Пахомове, но здесь уже кончился. Вся эта громадная, захватившая полгоризонта туча двигалась быстро, в ней происходили какие-то перемещения, в разрывах за колокольней стало проглядывать солнце: проглянет и скроется, проглянет и скроется. В воздухе была свежесть, какая-то кристальная чистота.

— У-у, весной пахнет! — говорили доярки, выходя из коровника.

Галя тоже пошла, вышла на плотину и увидела Воробьева, который в сопровождении Иванова и Пуговкиной, бранясь и чертыхаясь на чем свет стоит, ходил по распотрошенному утятнику.

У сарая стоял «Москвич» на длинных ногах. Скорее всего Иванов сообщил в Пахомово по телефону, и Воробьев примчался.

У него был растрепанный вид, сапоги по колено в грязи, которой он уже успел тут набраться. Галя спустилась и подошла послушать, о чем они говорят.

— А к чертовой матери! — говорил Воробьев. — Ладно, пруды давно пора чистить. Слушай, Иваныч, перекинем-ка мы утятник на нижний пруд, а в этом рыбу развести, что ли? А ты в общем здесь перепаша, земля хорошая, удобренная. Здесь посадим сад.